

Г. Демькина

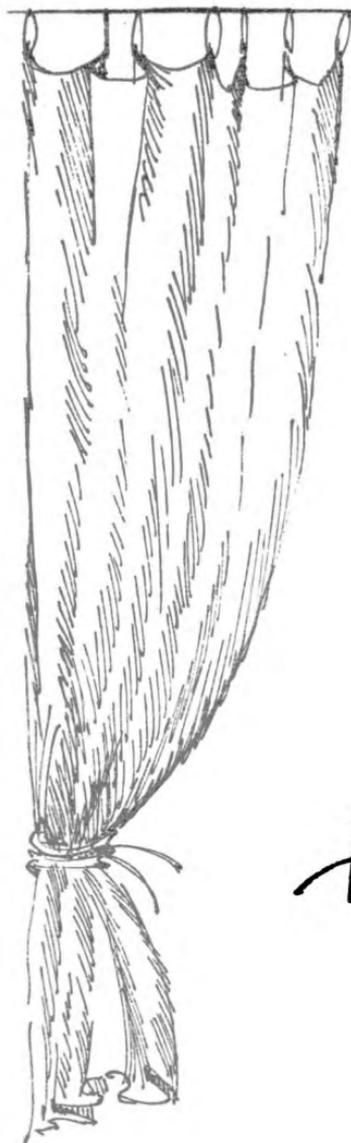
Почему
меня
никто
не любит?





Q





Г. Демькина

Почему
меня
никто
не любит?

П О В Е С Т Ъ

Москва «Детская литература» 1985

P2
Д32



Оформление А. Демькина

Д $\frac{4803010102-463}{M101(03)85}$ 269-85

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.



*К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей
меры,*

Чужие и свои?! —

Я обращаюсь с требованием веры

И с просьбой о любви.

М. Цастаева

—

мя, отчество, фамилия?

- Надя... Надежда Ивановна. Горюкина.
- Работаете? Учитесь?
- Учусь. В ПТУ.
- Где вы были семнадцатого июля днем?
- На производственной практике.
- От тринадцати до пятнадцати часов?
- В магазине, на практике.

* * *

- Где ты была, девочка, вчера днем?
- В магазине.
- Вспомни.
- Я помню, Нина Петровна.
- Тебя там не было, Надя. Я справлялась.
- Я вообще никогда не вру.

* * *

Впрочем, нет, нет, не это начало. Такой разговор состоит-ся, но позже. Он — из будущего, того, о котором мы ни-чего не знаем. А пока — другие проблемы. Полегче, пове-селей.

- Надёя, поедешь на озеро?
 - Кто да кто?
 - Лида, Валерка, я, ну, вот ты.
 - Мог бы пораньше сказать, у меня тоже свои планы.
- Видишь — занимаюсь.
- Чего это?
 - Архитектурные памятники Москвы, вот чего. Так что гулять некогда.
 - Хватит тебе, не выступай.
 - Дурак ты, Мишка! Руку с плеча убери.
 - Неприлично, да?
 - Фамильярно чересчур.
 - Ого, каких слов набралась! Ясно откуда. Да, забыл сов-сем, твой Димочка тоже едет.
 - Чего ж ты молчал? Раз Димочка... Я мигом. Подожди здесь в саду, ладно? — И на бегу: — Димочка согласился, а он не говорит!

Надя влетела в дом — старый, деревянный. Когда-то вся улица была из таких домов с палисадами, фруктовыми дере-вьями. Обычная деревенская улица, рядом — лес. Теперь изб этих раз-два и обчелся, вместо них — шестнадцатизэтажные с лоджиями, — пришла и сюда Москва. Кругом строят, строят, перерывают пустыри, навезли блоков-квартир, всюду подъем-ные краны, грузовики. А Наде — ведь скоро и до них доберут-ся — жаль переезжать. Жаль, а может, и к лучшему. Если два

годочка простоит их хибара, Наде уже будет восемнадцать — запросто могут дать отдельное жилье. Как ее подружке Лиде. Ох, скорее бы! Надоело с н и м и.

Вот и сейчас. Двенадцать часов дня, а мать едва поднялась, вчера опять с кем-то пила. А уж отец в сенях и подавно глаз еще не разлеплял. Что им солнышко!

Воскресенье, а мать, как увидела, что Надя переодевается, сразу:

— Куда? — да сердито так. — Куда собираешься?

— На кудыкину гору.

— Надька! Я тебе погрублю! Вот дрянь девчонка!

Надя выбегает в сад и тут лишь вспоминает, что и в зеркало не глянула. Эх, все равно красоты маловато — на сто граммов больше, на сто меньше...

— Пошли, Бантиков! Не заждался?

— Я б тебя и дольше ждал.

Она отвешивает шутовской поклон:

— Спасибо. Премного вам.

Потом хватает его за руку, и они бегут к автобусной остановке. А там стоит он. Дима. Одного его и увидела.

Подошел автобус. Не уехал бы!

— Прыгаем на этот, — машет рукой Надя. — Водитель! Эй, водитель! Подожди нас, красивых!

Воскресное утро солнечное. Даже редко так бывает. Все чаще дождь. Почти всегда в будние дни жара, а как праздник — зарядит дождь, носу не высунешь. Сегодня же благодать. За окном светлая зелень берез, листочки просвеченные, свежие, все кверху, к ясному небу, к солнышку. Сады ломаются от белого жасмина. Ух, молодцы, что поехали!

— Надь, чего ты в окно уставилась?

— Весна все-таки, Лидочка. Как говорится, утро года.

— Лето уже.

— Хм!

Это хмыкнул Дима. Он сидит позади Нади и — она чувствует — смотрит ей в макушку. Макушка ее неуязвима: хорошо вымытые волосы, и много их — прямо хоть выстригай. Подружки завидуют Надиным волосам: нам бы, мол, такие, мы бы коротко не стригли.

«Я косу отпущу и ленты вплету», — смеется Надя.

С ними-то она найдется, а с Димой — не всегда. В первых, он старше, он студент, а потом — непонятный. За этот год она немного привыкла, а сначала — хоть плачь. Однажды он ее назвал «Надежда в мрачном подземелье». Она вздернула голову.

«Почему это в подземелье?»

Он поднял руки:

«Не я, не я, это Пушкин». И засмеялся.

Разве она может все помнить? Хоть это стихотворение, правда, в школьной программе!

Вот и теперь. Чего он хмыкнул? Что она так сказала — «утро года»? Так это же из стихов, из его любимого Пушкина. Ему можно, а ей нет? Впрочем, дело не в том: он отлично видит, что она выдрючивается. И что — перед ним. Вот и взял с ней насмешливый тон. Хоть такое Надя научилась понимать. И сразу замаскировалась. Как? Очень просто. Она прямо всем выкладывает: «Ах, Димочка!.. Мой Димочка... Сохну по Димочке». Вроде если девчонка так говорит, то, значит, ничего нет. Игра одна. Розыгрыш.

А разве есть что?

И все же она время отсчитывает с того дня. С того самого. Ведь вот как вышло...

Возле них, чуть не впритык к их саду, построили здоровенный дом-башню с лоджиями. И стали заселять.

А из ее окна всю квартиру из двух комнат на первом этаже напросвет видно. Въехали туда какие-то невзрачные старички — муж и жена, а с ними два взрослых парня. Один постарше, красивый, ростом тоже удался, а другой — быстрый, подвижный такой, будто обезьянка, бегаёт, всюду поспекает, смеется.

В комнату внесли рояль — музыканты, значит. На крышку положили скрипку в футляре; ну и всякие там появились столы, стулья, тут уж как обычно. А потом повесили прозрачные занавески для дня и тяжелые бордовые для вечера. Больше ничего нельзя было углядеть.

Мама заметила, что Надежда в окно посматривает, обняла, засмеялась:

— Вон каких женихов тебе подкинули!

Надя покраснела и вырвалась.

Она этот день хорошо запомнила. Потому что влюбилась сразу. И не в красивого, а в другого, который бегал по комнате, смеялся, размахивал руками, толкал брата плечом в бок. Так он ей понравился! Даже подумала: «На Пушкина похож».

А при чем тут Пушкин? Однако взяла у сестренки с полки томик его лирики, прочитала несколько стихов. Хорошо прочитала. Может, первый раз — в удовольствие. А потом оказалось, что он как раз любит Пушкина! Вот какие бывают совпадения! Прямо чудеса.

Со дня их приезда Надя все время возле окна. Сидит за столом, уроки делает, а сама поглядывает. Она рада, что ее взяли в ПТУ. А боялась — не возьмут: характеристика из школы неважная. Но ничего, пронесло. Она хочет, хочет поскорее стать самостоятельной: очень уж родители у нее...

— Они прямо достали меня, слышать их не могу, и видеть тоже! — жалуется Надя своей старшей подруге Лиде. И не только Лиде. Она и всем рассказывает. Но Лиде — со слезой, а ребятам — со смехом, когда зла: выбежит после перепалки — руки дрожат, губы белые; ребята ей:

— Ты чего, Надь?

— Диспут был. Администрация матушки берет курс на вооружение.

— А чего она?

— Да чего... Как вернется со своей торговой точки, сразу трудные вопросы задает: почему я на танцы новые туфли надевала? Почему я такая нахалка? Зачем она меня родила? А я говорю: «Промахнулась ты, мать, надо было тебе королеву английскую родить, Елизавету».

Ну, так за разговорами и отойдет зло.

Возле их дома — скамеечка, на ней, под кленом, всегда полно ребят. И все, между прочим, к Наде приходят, даже мелюзга. Тут им вроде театра. Театр одного актера. Сидят, смеются, поддакивают.

Вот про что вспомнилось. Да это и не забывается, всегда с собой.

Автобус идет не быстро, все кругом видно: дома, деревья, встречных.

— Смотри, смотри, Лид! — кричит Надя. — Вон наша пэ-тэушка!

— Ага, — зевает Лида.

За ветками кленов и берез проплывает желтое трехэтажное здание.

— Здесь со временем будет мемориальная доска, — как бы никому говорит Дима.

Но Надя не обижается. Она косит глаза, чтоб увидеть его лицо. Вот он только что казался серьезным, а теперь смеется, что-то его там, на улице, заинтересовало. А вот что — корова пасется на обочине.

— Корова! — снова кричит Надя. И потом Диме, тихо: — У нас тоже была!

— Эх, опоздал я родиться! — И, смягчая свою насмешливость: — А пэтэушка твоя ничего, уютная.

Будто ему это интересно. Ну и ладно. А вот Надя шла сюда первого сентября — волновалась. Ее директорша просила цветов принести, так она полсада оборвала — и георгины, и золотой шар, и флоксы. А принесла — смутилась, бросила букет на подоконник. Все: «Чьи цветы? Чьи цветы?», а она молчит.

— Я, когда уже работала, года три сюда приходила, — говорит Лида и снова зевает, прикрывая ладошкой рот. — Хорошо встречают.

Надя помнит: Лида и в тот, первый день пришла, заглянула в класс, кивнула Наде. А учительница — как раз товароведение было — подозвала ее, пожала руку, объявила, что вот, мол, пришла бывшая ученица — их, первокурсников, поздравить.

А Лидка нарядилась, такая красивая!

— Я помню, — говорит Надя. — Я еще тогда немного повздорила...

Лида молчит, она даже слышать не хочет ни о каких таких ссорах. А Надя — что, нарочно, что ли? Учительница по товароведению спрашивает:

«Скажите мне, девочки, какими качествами должен обладать продавец?»

Одна говорит:

«Сдержанным быть».

Другая:

«Внимательным».

Третья даже так:

«Любезным».

Надя выкрикнула:

«Дело должен знать».

Учительница кивает:

«Верно. Все это важно. Очень важно. А еще?»

Все молчат. Тогда она сама себе ответила:

«Должен быть честным».

По Наде как стегануло:

«Все должны быть честными».

Учительница ей:

«Ты напрасно обижаешься. Разве не бывает так, что продавец проявляет нечестность?»

«Бывает. И с продавцом, и с кем хочешь. Даже с академиком. Но почему так считают: если продавец, то особо надо о честности говорить? Вот мать так поступает, а я буду иначе...

Надя тогда подумала: теперь по товароведению одни двойки пойдут. А нет! В году пятерка получается. И альбом она самый лучший сделала. Все мастерили наглядные пособия: одни — набор пуговиц, какие к чему подходят, другие — про материал, из каких ниток какая продукция. Надя взялась за отделку. И так вышло красиво! Сразу видно: вот вам просто ткань, а вот — в сочетании с другой. Наглядно. Потому и названо — наглядное пособие.

Автобус почти пустой. Лида трет глаза — похоже, не выспалась, — и запекает тихонечко. У нее голос прекрасный. И чего она в продавцы пошла? За прилавком стоит, скушает. При такой красоте и при таком голосе...

«Где мне найти такую песню...» — поет Лида.

По Надиной шее ползет какая-то букашка. Она незаметно проводит по волосам, опускает руку к шее. Ничего вроде нет. Потом опять... Надя хлопает себя по шее, в руках остается маленький березовый листик. Вот оно что! Лицу делается горячо. Неужели он? Быстро оборачивается. И наталкивается — может быть, впервые так в упор — на светлые Димины, смеющиеся, в узких веках, глаза. Разве можно глядеть прямо на солнце? Не заслонясь? Надя быстро отворачивается. В ней все торжествует и поет. Заметил! Заметил! Захотел обратить на себя внимание!

...И чтоб никто не догадался,

Что эта песня о тебе... —

уже в полный голос выводит Лида. И Наде хочется подтянуть, но что-то останавливает. Она будто слышит затылком, спиной, плечами, что е му это не понравится. И она молчит.

«Боюсь я его, что ли? Даже самой смешно».

Но молчит.

По салону, цепляясь за спинки кресел, подходят Мишка с Валеркой. Валерка, тихоня, малолетний дылда, садится на

свободное место возле него, а Мишка начинает теснить Лиду, чтобы сесть с девочками.

— Хочешь с Надькой сидеть — я уйду, — говорит Лида.

— С тобой, с тобой, Лидочка. Давай пой чего-нибудь повеселей.

Лида придвигается к Наде, становится тесно, жарко. Будто мест не хватает! Надя встает, чтобы пересесть, Мишка не пускает, тянет к себе, она, не удержавшись за спинку сиденья, плюхается ему на колени.

— Вот это другой разговор!

— Дурак! Пусти!

Она вырывается, налетает на Мишкин рюкзак, который стоит на полу, там что-то булькает. Вот оно что! Значит, выпить собрались. Про Мишку уж и так говорят...

Остановка.

— Ребята, привет, — вдруг слышит она за спиной. — Я тут к дружку забегу, а потом вас найду.

Надя оборачивается.

Дима выскакивает через заднюю дверь, машет рукой.

Что же это? Неужели рассердился из-за Мишки?

Не вернется он.

Не станет искать.

Что ему с ними делать? Проехал несколько остановок вместе — и то спасибо.

Надя молча смотрит в окно.

Вот воскресенье: ждешь его, ждешь, надумавшись всякого веселья, а пришло — и нет ничего. Не видела она этого вонючего автобуса да пыльного шоссе! Вот если бы Дима... А все из-за Мишки. Нашел время заигрывать! Такой нахальный стал! Но ведь Дима-то рассердился, значит, ему не все равно! «Я ему, может, нравлюсь? Ну хоть немножечко?»

Будь это кто другой, Надя решила бы: «Прибежит, никуда от меня не денется!» А с Димой — нет. При нем она как скованная. И сказать-то не все может. Будто вот так получается: в ней чего-то недостает, а видит это только *он* один. А чего недостает-то? Для всех хороша, а ему — не очень. И отчего? Может, из-за одежды: одета плохо. Выходное платье и то коротко, и фасон детский. Не хочет мать одеть ее. Сестренку Альку одевают, хотя она и вообще-то мелюзга, а ее, Надю, — нет. Это ведь тоже от любви зависит.

— Надя! — окликает Бантиков. — Ты особо не печалься, мы тебя поддержим всем дружным коллективом.

Надя знает, что надо обернуться к ним, засмеяться: вот,

мол, спасибо, не дадите пропасть. Но не может. И чтобы быть поближе к тому, что чувствует, начинает другую игру: хлюпает носом, трет рукой глаза.

— Надея, не плачь!

— Как не плакать,— говорит она, придавая голосу дрожь.— Димочка сперва веточкой мне по шее проводил...

— Заигрывал! — догадывается Валерка.

— А потом бросил,— достанывает Надя.

— Нам сходить! — объявляет Лида.

— Идем, Надея, я тебе поленом по шее проведу.

Они спрыгивают, смеясь. И сразу — трава, желто-белые солнышки ромашек (видел бы он!), вдалеке — озеро, там народ, оттуда рев транзисторов (может, потанцевали бы) и кое-где — купальщики. (А он стал бы купаться? Наверное, плавать здорово!)

— Пошли, пошли! Купальники взяли, девочки?

— Ты что? Мы не моржихи. Ветер какой!

— Трусите? А мы скупнемся, да, Валер? Надо же воду погреть!

Наде не хочется «греть воду», слушать чужие транзисторы и Мишкины глупые шуточки. Не хочется спорить, когда Мишка начнет приставать: «Выпей, Надея!» А она не хочет, и все. Как обещали друг другу с Алькой — сестрой,— так и будет.

Тогда их старики задрались, отец схватил стул, поднял над головой, мать заверещала, и кто-то из соседей пробежал от калитки, забарабанил в окно, а потом — сразу же — в дверь: «Милицию вызовем». Они притихли. А девочки, забившиеся в угол и готовые в любую минуту выскочить из дома, как только родители заснули возле стола пьяным сном, дали друг другу слово, что — никогда.

— Поклянись! — потребовала Надя.

— Клянусь!

— И я клянусь.— И заплакала.

Лида и оба парня сходят с тротуара и идут к озеру. А Надя, озираясь,— к остановке автобуса, который — в другую сторону. Только скорей бы подошел, а то хватятся! Вот и в самом деле Мишка оглядывается, потом вовсе останавливается.

— Надея!

Валерка показывает вперед, что вроде она к озеру побежала. Лида заглядывает в окно галантерейного магазина: может, Надя туда зашла? Забыла, что ли, — ведь сегодня воскресенье!

Надя прячется за спины ожидающих автобуса. Вот, наконец, идет! Слава те осподи, как говорит мать.

Надя впрыгивает на ступеньку, и все. Привет вам, озеро, друзья-приятели, воскресная прогулка!.. Скучно ей, вот и все. Пусть смеются: «Без Димочки не можешь?» — «Ну, допустим, не могу. А вам-то что?»

Перед глазами все те же пыльные улочки с палисадами; коробки блочных квартир, сваленные на месте снесенных бревенчатых домов; вырванные с корнями яблоневые деревья, длинные ямы, на дне которых — трубы. Разбито все. Когда еще выстроят?! Теперь Наде ни на что смотреть не хочется.

А у Димы брат — Сева — настоящий музыкант. Да не в оркестре играет, а сам, один. Как-то Надя увидела: Дима вышел на балкон в сером костюме, нарядный, протянул руку — нет ли дождя, а дождь и правда накрапывал. Надя выбежала на улицу, под кленом на лавочку села, — ему мимо проходить. И он прошел.

— Ну ты и пижон! — улыбнулась Надя.

— Сегодня Севкин концерт, позвал родного брата. — И вытащил из нагрудного кармана блестящий пропуск или, может, приглашение.

— Один играет?

— С аккомпаниатором. А так — один, да. Сольный концерт.

Надя каждый день слышала, как играет на скрипке его брат. Она тогда даже еще не знала, что он Севка. «Сева, — повторяла она, сидя под дождем на лавочке, — Всеволод. «Исполняет Всеволод...» Как их фамилия? А, да — Стáриковы».

Надя задумалась, чуть остановку не проехала.

Сошла возле дома, привычно глянула на знакомый балкон: дверь распахнута. Может, дома? Не к приятелю пошел, а домой? А может, и не он, может, Севка. И не узнаешь никак.

Навстречу попался старик — он недавно въехал в этот же

дом. Это она, Надя, ему присоветовала. Случайно встретились, он как раз смотровой ордер получил и спросил ее, а она говорит: «Плохо ли? Такие квартирки, я бы и думать не стала!»

Да она бы и в сарай не задумалась, лишь бы из дому.

А он поверил ей и въехал. Теперь ходит, воздухом дышит каждый вечер, к ним за забор заглядывает. Вот и сейчас — с прогулки.

— Здравствуй, Надежда.

— Добрый вечер, Пал Палыч.

— Прочитала книжку, что я давал?

— Ага. Сестренка читает, ладно?

— Конечно. А тебе-то как?

Вот это Наде трудно. Книга хорошая, Надя чувствует, что хорошая, серьезная, хотя там и про любовь, и про все. А сказать не умеет.

— Понравилась... — И краснеет.

— Ну, ну, я так и знал. После поговорим, а то я спешу.

Хороший дед. И к ней хорош. А почему — неизвестно. Разве так просто, без надобности, бывают хороши? А чего с нее взять? Может, к матери подкатывается, чтоб оставляла для него продукты? Это бывает. Вот ловкий какой: не успел приехать — уже сообразил. «Книжечку почитай, сваха!» Это он ее так зовет, что квартиру присоветовала — сосватала. Неужели нет на свете хороших людей?

* * *

Он просыпался теперь от крика птиц — здесь осталось много лесного: дачный поселок недавно стал превращаться в городской район.

Он вслушивался в пиликанье синиц, в драчливый гомон дроздов на березе, оставленной впритык возле окна, видел скачущего дятла.

— Давай заходи, — звал его старик.

Когда работал на стройке, придут, бывало, на место, а там лесная глушь. Пока выкорчуют, вытопчут!..

И память повела дальше — в деревню, к деду в лесничество. Тогда он всех птиц знал — хоть на слух, хоть на вид. Потом забыл. Выучился, пошел вверх по службе и всю жизнь слушал людские крикливые голоса, научился понимать их оттенки и за этим криком отвык радоваться их радостями. Зря не обижал — это так. Помогал даже, когда было в его силах. Но тоже в общем масштабе: поднимал хозяйство —

стало быть, для них старался; выбивал деньги на премии, на строительство домов, на школы... И все больше — бумаги. А чтобы лица... Вот этому и вот этому — реже. Да просто редко.

Теперь много промахов своих знал, да уж что... Поздно. Он рад, что приехал сюда жить. А ведь давали и в центре. Но есть, говорят, и подальше — там прямо в лесу отгрохали.

— Э, нет. Я уж стар, мне бы возле поликлиники.

— Как знаешь. А то взгляни.

— Ну, давайте взгляну.

Улица, помнится, понравилась, а дом — нет. Нелепый среди не то деревенских, не то дачных построек и садилов.

И вдруг выбежала. Из соседнего прямо домочка. Лет шестнадцат-семинадцат, не больше. Рожца круглая, глаза круглые, стрижка, как бывало в деревне, под горшок. Репка крепенькая. А бегаёт как-то особенно, по-своему: и храбро, и робко. Руками то вразмашку, а то прижмет их к бокам, будто застесняется: ведь есть люди со своей особой повадкой, а есть — без.

Так вот, выбежала из дому, глянула:

— Въезжаете?

— Думаю.

— Чего думать-то, осподи!

И что-то через нее напомнилось молодое, безрассудное, непуганое, и он сказал себе ее словечком: «Осподи! Чего я в центре-то, пыли да гари не видел?»

И согласился.

Так, может, глупо решать жизнь, а вот поди ж ты! С ним, впрочем, иначе и не бывало. Так и с работы ушел: полгода до ордена не дослужил. Махнул рукой — и... Вот так. Не всегда это к лучшему, но с характером не поспоришь.

Женщину любимую пропустил мимо своей жизни тоже так. Она была молоденькая, много его моложе, и вздорная. Крепенькая, бойкая, черноглазая. И фамилия была — Кочанова.

Он работал начальником стройки, дел — невпроворот, пойти пообедать некогда. А секретарем сидел паренек — вошел раз — другой, спросил для порядку: «чаю принести?» А у самого даже уши покраснели. И надо бы попросить, да как такого попросишь?

Стал заходить в буфет — там народу поменьше, чем в столовой, и работает допоздна. Буфетницей была девчонка... Он помнил ее проворные движения, яркие белки темных глаз, и как тайно любовался ею, сурово сдвигая брови...

Как-то вечером зашел поужинать, а буфетчица эта, Саша, ящички с пивом перетаскивает. И какой-то молодец-доброхот ей помогает. Да так поглядывает... И что-то у него настроение испортилось. Взял чаю — она ему отдельно заваривала, — салату, хлеба с колбасой и ест молча. А она за стойкой деньги пересчитывает, ждет не дождется, чтоб поскорей буфет закрыть — так он подумал.

— Вы получите с меня, — говорит, — и идите. А я наверх свой бутерброд унесу.

Она как встрепенется, и прямо глаза засветились:

— Да что вы! Разве он мне нужен?

— А чего, — говорит, и сам чувствует: повеселел. — Парень красивый, сильный, по работе помогает...

— Сердцу не прикажешь, — отвечает.

— Ты сама-то откуда?

— Из деревни.

— А чего приехала?

— Как чего? Работать. Уже не маленькая.

И он подумал: неудобно, сам не заметил, как стал говорить ей «ты». И добавил, смеясь:

— Очень даже ты маленькая, совсем девочка, так и хочется тебя удочерить.

Она невесело хмыкнула.

А на другой день, ровно в два часа, входит его юный секретарь:

— Тут буфетчица обед принесла. Говорит, вы велели...

Не велел он, нет, но... не нести же ей обратно.

На другой день опять пришла и он был рад ей. С тех пор он уже ждал этого часа, и не приди она — огорчился бы...

Однажды пришлось срочно выехать на объект — чрезвычайное происшествие. Вернулся поздно, расстроенный, уставший. В контору не зашел — прямо домой. Он жил тогда в гостинице. И вот только вошел, помылся, черноту с лица не успел согнать — зазвенел телефон.

— ...Вы это?.. Вы?!.. — и плачет. — А мне один дурак сказал, что вас цементной крошкой засыпало...

Он вспомнил, как она плакала, и как у него вдруг ушла из души вся горечь и усталость. Кто-то печалится, волнуется о тебе, кому-то ты дорог, дорог просто так, ни за что.

...Вероятно, ему надо было оставить ее возле себя, навсегда. Развестись с женой, с которой уже и так едва теплилось; сын все равно не мог быть дальше от него, чем был, да и большой — студент... Домашним не было дела до его труда

и трудностей, они никогда не приезжали «в эту пылицу», он не верил в такую любовь. А в ее, Сашину, верил. Но все было недосуг заняться личными делами. А может, что-то и удерживало, — он теперь не хотел вспоминать. Саша ни о чем не просила, однако отношения их стали портиться. Скучали друг без друга, маялись, а видеться стали редко. Потом его перебросили на другое строительство. Как раз в разгар ссоры. Вместо прощания оставил ей новый адрес, думал, она приедет. Прибежит. А она не приехала.

И чего он вспомнил эту давнюю историю? Да оттого, что так вот, с размаху, решил квартирную проблему. Или, может, от встречи с этой простоватой девочкой-репкой? Она оставила в нем ласковый след, как бывает, когда найдешь в книге стихотворение, связанное с каким-то дорогим событием, или еще сильнее — когда услышишь мелодию давних и милых времен.

* * *

У Нади есть вина. И как все исправить — неизвестно. Она, может, в первый раз пожалела, что обидела. А получилось вот как.

Когда Надя в ПТУ вошла в кабинет эстетики — удивилась: красиво. Аудитория вся в тускло-желтых тонах: столы не крашенные, а светло отполированное дерево под лаком, видны древесные разводы, кружочки от сучков. И стоят столы буквой «П», а в середине — большая керамическая песочного цвета ваза с букетом из высоких степных трав, их матово-желтая грива просвечивает и вздрагивает от ветра, и тут же несколько коричневых тростников, самое темное пятно во всей комнате. И от всего этого начинает казаться, что ты далеко за городом, и не просто у лесного пруда, а в каком-то удивительном, может, даже заколдованном замке, и что сейчас раздастся музыка... Вот ерунда какая начинает казаться, хотя отлично видишь знакомые физиономии и чернильное пятно на учительском столе.

— Я хочу, чтобы у вас было представление о прекрасном, — сказала молодая и тоже очень красивая преподавательница.

Она стояла и ждала, пока все рассядутся и, главное, оглядятся. Ждала реакции на красоту. Она не понравилась Наде, потому что говорила гладко, очень уж горячо, будто захлебываясь этим своим прекрасным. И потому еще, что красива. Ручки такие точеные, и сама чересчур складная. Вот Лида

тоже хороша, даже лучше. Или их Алька. Но им Надя не завидовала — подумаешь красота! Она могла быть интереснее их. А Стана Александровна была сама из мира этих керамических ваз, умело отобранных трав (не больше и не меньше — вот столько, иначе все пропадет), и тростниковых бархатинок, и тускло-желтых занавесей с их мягкими складками.

— Пусть это будет наш храм искусств! — говорила она, открыто глядя на незнакомых подростков.

«Подумаешь, — противилась ей Надя, — поставила эту толстую тетку с отбитыми руками. — Надя уже знала, что это эталон прекрасного — Венера Милосская. — Ну и что? Разве красиво — такая толстая?» А изящная женщина-эстетичка как раз заговорила о том, что каждая эпоха создает свое представление о красоте и что вот античный мир красоту физическую — и она повела рукой в сторону Венеры — и духовную видел в гармонии; и еще что-то о равновесии душевном и о физическом здоровье, о радости созерцания пропорционально развитого тела. Она показывала еще какие-то картинки, чтоб доказать, как атлетически сложены изображенные греками и римлянами герои и как они смело и естественно ведут себя в различных обстоятельствах жизни.

«Представляется она, — думала Надя. — Вот если бы достать книжку, все это самой прочитать!» Ей мешало... как это сказала Стана... а вот что — «физическое совершенство». Да, да, физическое совершенство той, которая обо всем этом рассказывает.

О себе говорит. Чтоб и о ней так подумали.

И вдруг учительница быстро подошла к Наде, почти подбежала:

— А что вы можете сказать... Постойте, как ваша фамилия?

— Горюкина Надя.

— Что вы, Надя, скажете о средних веках?

Осподи, будто она только и думает о средних веках!

Но Стана положила ей на стол картинку, и Надя неожиданно воскликнула так же, как учительница, задыхающимся голосом.

— Одни глаза!

В аудитории засмеялись. Но Стана не обратила внимания, подхватила:

— Верно! Молодец, Горюкина! Одни глаза, только дух, тела как бы нет, оно считается греховным, оно скрыто в широких тканях...

После урока одна девочка — Вера Тевелева — подошла к Наде, улыбнулась.

— А еще можешь так?

— Конечно.

— Вот здорово!

И Надя голосом Станы Александровны провела на перемене урок «Эстетики первого курса», показав, как не соответствует излишний вес мальчика Коли Золотцева представлениям нашего века о красоте, быстроте и ловкости.

— Он не пролезет! — задыхалась Надя. — Все перейдут на другой курс, то есть, простите, в другой век, а он... Что он, Тевелева?

— Застрянет?

— Конечно! Молодец, Тевелева. И потом, его тело слишком туго обтянуто дорогой джинсовой тряпкой. Она лопнет! И что увидят потомки? — Надя не на все требовала ответа и, видя, что Золотцев начинает дуться, перевела всё на свои непропорциональные средневековые глаза, которые мешают ему сосредоточиться на занятиях.

Как и дома, возле скамеечки, здесь тоже столпились, чтобы ее послушать. И Стана Александровна, кажется, услышала. Или ей передали. Но об этом Надя узнала позже. А так вышло здорово. Ребята смеялись, даже хлопали. Ну конечно, Золотцев обиделся.

— Много берешь на себя, — буркнул он. — Ты вообще не в моем вкусе.

— А глаза? — задиралась Надя.

— И глаза. Я ведь сижу за твоей спиной, значит, у тебя глаза, как у стрекозы, видят во все стороны.

— Тем более! — не сдавалась Надя. — Ведь скучно, когда все как у всех.

— Смотри что! Бедный твой муж, если, конечно, кто решится, — от тебя не спрячешься.

— Ему только за Надькой уследить! — вмешалась Верочка Тевелева. И предложила вдруг: — Давай будем дружить?

— Я должна спросить у Николая.

— Разрешаю, — великодушно ответил дородный Золотцев и кивнул дружелюбней.

Так завязались отношения с первым курсом. Надя тогда думала, что теперь это училище, в котором ей сразу хорошо задышалось, будет ее дом родной. Что с ю да будет тянуть, как тянуло недавно в кружок танцев при клубе, пока он не

распался, потом к доброте и внимательности Пал Палыча... А теперь — нет, не получится здесь дома, она не вся тут. Потому что есть Дима. И где бы как бы хорошо ей ни было — надо всегда быть на посту: у окна, или на скамеечке, или просто на своей родной улице, по которой быстрой побегой проносится он. И порой поглядит на нее, кивнет, а то и остановится поговорить.

Мишка Бантиков пришел на другой вечер после их поездки к озеру. Взял гитару и явился, сел на скамейку под кленом. Надя увидела из окна, подошла.

— Ну что, Бантиков, научился играть?

— А чего? Главное, Надея, бой. Вот, слушай.

Бил он хорошо — видно, что отработал. А на ладах пальцы не сгибались, звук получался фальшивый. И как это Сева на скрипке играет? Ведь там и ладов нет совсем.

— Тише ты, Михаил.

— А чего?

— Да так.

Она боялась помешать Севе, но сказать об этом неудобно. Они всегда, как Мишка за гитару, захлопывают окно. Не любят. Или если с транзистором, тоже не любят. И почему это?

— Я, Миш, окончу ПТУ и тоже в институт пойду.

— В какой?

— В Плехановский. Нас там — вне конкурса.

— Да ну?!

Вот именно, что «да ну»! Она ведь и не думала вовсе про институт — так вырвалось.

— До него дотягиваешься?

— Почему? Он, Миш, и так на меня все из окошечка поглядывает.

— Доглядитесь!

«Врунья! Какая я врунья! Ни разу он не взглянул на мое окно. На сад наш смотрит, это верно, на кусты, которые от нас прямо до его лоджии доходят: так дом строили, чтоб не очень зелень тревожить. А я все у окошка, так и караю!».

Надя вспомнила, как он въезжал с родителями и с братом и позже прошел мимо их компании, а она рассказывала ребятам о своем поступлении в ПТУ. Она любила этак — в лицах:

— Директорша сама вышла с нами говорить, с моей знаменитой мамашей, ну уж и со мной заодно. Спрашивает:

«Ты почему, Надя, хочешь в торговлю?»

«У нас, — отвечаю, — торговая династия. Вот и мама...»

«Знаю, знаю», — говорит.

«А учишься ты хорошо?»

А чего спрашивать? Аттестат приложен. Я сижу, молчу, как птичка.

«А характеристикой, которую тебе в школе дали, довольна?»

«Не совсем».

«А чем не довольна?»

«Я старательная, — говорю, — тихая, активная, очень общественно полезная, а они все наоборот написали, даже читать скучно».

Директорша мне:

«Хватит, хватит, Горюкина».

А я возмущаюсь:

«Не хотят из школы отпускать, так бы и сказали: ты, мол, нам самим такая хорошая нужна. А они вон что придумали: оговорить, оболгать! Чтобы, значит, здесь не приняли, и я к ним вернулась».

Мать меня под столом ногой толкает, а я остановиться не могу. Директорша немного улыбнулась и спрашивает:

«А что мама скажет? Не грубит вам дочка?»

«Что вы!»

Да как начнет меня расписывать! Прямо ангела к ним в училище отдаст, а если черт получится — их вина.

«Понятно, понятно, — говорит директорша. — Я примерно представляю, к о г о вы к нам привели».

Надя оглядела ясным взглядом ребят и тут вдруг заметила: возле их забора остановился и слушает новый сосед, ну, тот, который ей понравился. Интересно ему. Да ее любой слушать станет: где слов не хватит, она глазами, жестами договаривает.

— Ну, ну, дальше, Надьк! — кричат ребята.

— А чего дальше? — Она заволновалась, но виду не подавала и скороговоркой: — Мать в слезы, а директорша ей: «Не плачьте, мы возьмем ее, тем более вы торговый работник, имейте преимущества».

И Надя пояснила уже скорее е м у, чем ребятам:

— Это у них такое правило. — Потом махнула рукой от головы, засмеялась: — А мать не поняла, говорит: «Да я для вас, я для вас...» — И опять поглядела на соседа. Он улыбнулся. Тогда же они и познакомились.

...Вот сколько времени прошло уже — целый год! А она так и смотрит на него в окошечко. С ребятами он разговаривает, да и с ней тоже — «Здравствуй, брат Надежда!» Но ему она, если честно-то поглядеть, ничуть не нравится. А вот Мишке — даже очень: он и злится на нее, и ссорится, а мириться всегда первый идет, хотя и старше. Только что это он говорит, будто Надя до Димочки дотянуться хочет? Разве дотянешься, если нет к тебе интереса? В этот «интерес» Надя очень верит. Но у Димы все-таки его нет. К ней нет. Может, к какой-нибудь другой?

«За счастье надо бороться», — думает Надя, но только не знает как.

— Я, Миш, между прочим, никогда никому не навязываюсь.

— Ну и верно. Он тебе не подойдет.

— Почему?

— Да так. Вот мой отец говорил, у твоей матери тоже была любовь с каким-то большим начальником.

— Откуда твой-то знает?

— Так они же из одной деревни и после вместе на стройке работали. Отец там и женился. И тетя Шура твоего отца тогда же нашла.

— А правда, что мой отец красивый был?

— Ой, что ты! Прямо орел. Я видел, они все вчетвером сняты. А у вас разве фотокарточки нет?

Есть у них, наверное, есть, да Надя как-то не смотрела. Не так уж ей нужно было. И про Мишкиных родителей не знала. Чудные у нее старики: ни про что важное не говорят. Только попрекают друг друга — да деньги, деньги... И еще — вино. Винище. Наде хочется скорее увести разговор, она стесняется своих. Но тут из дома вылетает сестренка Аля. Она здоровается с Мишкой за руку: такая у них игра — в ровню.

— Надь, отец велел, чтоб мы маме помогли, — говорит Аля. — Там черешню привезли. Ящики надо...

— Ну и шел бы.

Аля пожимает плечами. Все ясно.

— Она же вроде у него получку отняла.

— Бутылку спрятал где-то. Почти что не начатая была.

— Ладно, Миш, мы пошли, — усмехается Надя. — Вот тебе и счастливая свадьба на стройке.

— Для свадьбы любовь нужна, — вдруг серьезно отвечает он.

И Надя, мгновенно прикинув услышанное, испытывает

острую жалость к отцу: да ведь мать не любит его! И никогда не любила! Красивый был, молодой, а нелюбимый. Начальник замуж не взял, так за этого, мол, пойду. Стерпится — слюбится. И говорить, судачить не будут... Вот оно что! Вот как!

— ...понимаешь? — заканчивает какой-то свой рассказ Аля.

— Ага, — отвечает Надя. И кажется, невпопад.

— Чего «ага»-то? — недовольно отзывается сестренка. — Он сказал, что может не ехать, не обязательно, а поедет.

— Кто?

— Твой Димочка.

— А куда?

— Я же говорю: в экспедицию. Какие-то старинные песни собирать.

— Что? — Надя останавливается и сама чувствует, как отливает кровь от щек. — Когда же это?

— Летом. Точно не сказал. Но я вот удивляюсь — он говорит «очень интересно». А что там интересного, среди старух, а? Это на Севере где-то. Я спрашиваю: «Там хоть клуб есть или кино?» А он и не знает.

Надя сражена сразу двумя известиями: первое — уезжает Дима; второе — разговаривал с Алькой. И так серьезно; может, он ее в невесты готовит? Красавица ему нужна?!

Алька у них и правда красавица. Прямо чудо: в их семье — и такая девчонка! Еще маленькая, шестой класс, а на нее парни заглядываются. И что ни наденет — все ладно; и учится на пятерки. И записочки от мальчишек в печку бросает. Но одну Надя все же прочитала. Стала выгребать из печи, а там конверт недогоревший. Стихи.

Помнишь, Аля,
Как мы целовались,
А девятого расстались.

Вот оно что, тихоня! И какого же это девятого? Зимние каникулы, что ли? Теперь только не хватает, чтобы Дима...

— Ну чего ты? — тянет ее за руку Аля. — Идем!

И они идут.

Надя теперь уже знает, что есть фольклор, народное творчество, — это Альке, дурочке, не понять — и что есть люди, которые его собирают, записывают от старых людей. Им Стана Александровна на уроке эстетики рассказывала. Даже обещала гуслея привести. Только Наде не кажется, что это так

уж интересно. Ну, коверкают слова эти старики, так их и в городе тебе перековеркают — в упор не узнаешь. А ему вот нравится. Почему? Не зря же! Не может быть, чтобы зря.

У палатки женщины с корзинками и сумками. Мать грязными от ягод руками шарит на дне ящика.

— Шурочка, мне из нового, я в больницу несусь...

— Я для ребенка, мне покрасней.

Каждый раз одни и те же слова, свихнуться можно. И какая она им Шурочка? Была, может, когда-то.

И опять болью отдается услышанная от Мишки история. Неужели мать так поступила с ним? Неужели все так? Но ведь потом она плакала из-за отца, когда он по пьянке руку повредил, и жалела, и говорила: «Без руки проживешь, я прокормлю...» Это потом. Позже. Да и в том ли дело, что «прокормлю»?

Надя не видит лица матери, но знает, что оно сейчас распаренное, в красных пятнах. Спина взмокла под халатом, волосы в коротких завитках слиплись. Наде не нравится, что они так между собой похожи. Она, значит, тоже расплывется, завьет волосы, так же станет кричать: «А вы глядите, глядите получше, мне чужого не нужно!» И так же ей чужое будет нужно. Нет, не будет! Чтоб никто, никогда! А все равно скажут. Мать говорит — скажут все равно.

Вот мать оборачивается, вздыхает, отирает со лба пот. Теперь ее немного жаль — упарившуюся, всеми подозреваемую. Увидела дочек:

— Слава те, пришли.

Ломяком вскрывает новый ящик, пересыпает в него оставшиеся ягоды.

Девочки берутся с одной стороны, она с другой, ставят ящик повыше. Подтаскивают еще два.

— Хватит,— говорит мать.— Возьмите, вон я в сумке взвесила.

Она всегда сует им что-нибудь отдельно, помимо того, что несет домой сама.

— Мы не хотим, ма! — улыбается Аля. Она красуется перед людьми, а сама очень даже хочет.

— Берите, говорю!

Лицо матери еще сильнее наливается кровью. В очереди уже идет обсуждение:

— ...Да чтоб себе не взяла!..

- Взвесила она, как же!
- Шура не обманывает, зря вы!
- А и взвесила, так черешни на всех не хватит.
- Что ж, им не положено, что ли?
- У моря да не замочиться?
- У грязи да не запачкаться?!
- А девочки что, обязаны тут ящики ворочать?

Аля будто не слышит — берет сумку с черешней и победно проходит мимо теток. Они умолкают. Глядят. Глаз отвести не могут. Любуются. И любят ее с ее улыбочкой. И как ей удается в такой момент?! Неужели людям только и нужно, что улыбку?

* * *

Надя не понимает теперь, как это она могла говорить о Нине Петровне, «директорше», плохо. Теперь она не знает человека прекрасней, не видела женщины обаятельней. Ну да, она уж не молодая и, может, не такая красивая. И толстоватая. Но как поглядит ласково и голову наклонит — так и хочется ей подчиниться. Да, да. Не потому, что директор, а просто так. Что-то идет от нее, какие-то токи, а может — волны. Надя не сразу это заметила, а только в середине года.

В то утро она перед самым выходом поссорилась с матерью — так, из-за ерунды, это у них часто. И мать ей закрычала:

— Бандитка! Что из тебя выйдет? Ни посуды помыть, ни обед сварить...

Это Надя чего-то там по хозяйству не сделала. А сама мать дом запустила, грязные стены коврами завесила. Только продукты несет, тащит — и все ради вина. К ней все время какие-то темные личности сбегаются. Не ей свою дочку попрекать!

Надя хотела сказать ей, кто тут бандитка, но сдержалась: начнется крик. И пошла в свою пэтушку. И такая злоба душит — прямо укусила бы кого-нибудь! Шла, шла, на часы не глядела — и опоздала. Уже тихо в коридорах, а у них как раз товароведение. Уж туда, «в аудиторию», как говорит их мастер, ни в жизнь после звонка не пустят — сразу к директору. Ну, она и пошла, не заходя в класс, к Нине Петровне. Входит, а та сидит за столом, на полную свою руку оперлась и говорит по телефону.

— Да, — говорит, — я им довольна. Хороший мальчик. Ей что-то, видно, возражают, а она опять твердо:

— Очень хороший. Да вы зайдите ко мне, вместе подумаем.

И так Наде захотелось, чтобы и о ней так — перед матерью, перед мастерами: хорошая, мол, — и все. Даже немного заплакала. Стоит, а слезы текут.

Нина Петровна кивнула на стул, что-то еще там договорила в трубку и спросила строго:

— Что случилось?

— Я опоздала, — ответила Надя.

— Очень плохо, — говорит директор. — А плачешь из-за чего?

Надя опустила голову — и ни словечка.

— Я же знаю, Горюкина, ты не такая робкая, чтоб из-за опоздания плакать. Ну-ка погляди на меня.

Надя поглядела и увидела спокойные, умные глаза, и притом добрые. И вдруг стала все рассказывать — и про родителей, как они пьют и ссорятся, и про Альку, которую в семье любят больше, чем ее, и что отца жалко, а любить вроде не любит... Уж и звонок прозвенел, а потом и перемена кончилась, а она никак остановиться не может. Нина Петровна не прерывает. Кто сунется в кабинет, она:

— Я занята. — И Наде: — Продолжай, продолжай, я слушаю.

А потом сама стала говорить, да как-то у нее выходило не то чтобы складно, а повыше. Надя ей: «Они эгоисты, себя только знают». Ну что бы сказал кто-нибудь другой? Например, их мастер и наставница Анна Ипатьевна? Она бы сказала: «А кто тебя кормит, одевает?» Или: «Они устают, им некогда быть с тобой ласковыми...» И Надя бы, конечно, промолчала, но все равно осталась бы горечь. Потому что разве в одежке любовь, да еще которой попрекают?! И разве надо много времени для доброго слова?

А Нина Петровна взяла в сторону. Может, ей не хотелось о пьянках и драках. Она заговорила почему-то о семье Ростовых из «Войны и мира» Толстого.

— Это хорошая, добрая и какая-то даже трогательная семья. — Нина Петровна глядела нежными, повлажневшими глазами в окно, вспоминала для себя и заодно приглашала вспомнить Надю. — Помнишь — старый граф звал свою жену «графинюшка»... И как Наташа прибежала вечером к матери, когда та ложилась спать, и весь этот разговор о Борисе... Наташа говорит: он узкий такой, как часы в столовой... серый, светлый... кажется, так. А о Пьере Безухове — что

он темно-синий с красным. Помнишь? И как Наташа ластится к матери, целует ей косточки пальцев: январь — февраль — март... И там — помнишь? — Соня. Она очень мила, ее все любят, да и дом Ростовых такой, что никто бы ей не дал ощутить, что она всего лишь племянница, а не родная дочка, а все же... У тебя не было такого ощущения?

— Я не знаю, — прошептала Надя.

Ей было стыдно. Она ведь читала, читала! И помнила то, о чем говорила Нина Петровна, но помнила просто, а в душевной, что ли, памяти этого не было. Сначала даже хотелось возразить: «При чем тут Соня? Я-то ведь *им* родная?!» Но вдруг понял: Нина Петровна вовсе не воспитывает ее и не обсуждает ее проблем. Да и что тут можно сделать? Она просто вспомнила любимое, позвала Надю поговорить о знакомых, о близких. У них, значит, есть общие друзья, у тех были дела посерьезней — война ведь! И теперь они с Ниной Петровной могли бы повспоминать, обсудить. Только вот Надя читала как-то иначе: и Наташа, и князь Андрей, и Пьер Безухов — все были для нее из книг, отношения к ней не имели: ну, ходят, разговаривают, воюют, любят... Читать интересно, но чтобы так, будто о знакомых, о своих...

— Впрочем, у меня тоже не было такой семьи, — вздохнула Нина Петровна, — вот стараюсь теперь с о ю сделать потеплей, помягче. — И уже другим, директорским голосом добавила: — Ну, пойдем, я отведу тебя на урок.

Надя рада была чему-то. Неизвестно чему. И ей хотелось так же легко, как Нина Петровна, двигаться и голову наклонять так же. Надя попробовала. Да, да, вот так наклонишь голову — и совсем как она. И глаза надо сделать... Ну, по добрей, что ли.

* * *

В тот день Лида Шумакова праздновала день рождения.

— Сколько тебе стукнет? — спросил Миша Бянтиков, когда Лида подошла к Надиной скамеечке звать его на праздник.

— Сколько не жалко, — ответила она, как взрослая.

Надя тоже получила приглашение.

— А кто будет? — деловито спросила она.

— Придешь — увидишь. — И не выдержала: — Сливки общества, вот кто. Ты музыку-то любишь?

— Ну?

— А скрипку?

Надя даже покраснела. Ничего себе! Вот кого зовет, не боится! А сама Надя не решилась бы. И если б мать с отцом ушли — все равно.

— Какая ты...

— А чего? Я их обоих встретила у метро и говорю... Ведь день рождения все же. А Дима твой сразу: «Придем!» Ну, тогда и Севка согласился. Он мне еще ко-огда обещался на скрипке сыграть. Я и спросила: «Долг отдашь?» А он вспомнил и говорит: «А как же».

— А еще кто, Лид?

— Еще мой знакомый будет, Анатолий. Он доцент. И ужасно в меня влюблен. И наши с ним общие друзья.

Лида красивая. Вот ее и взяли в парфюмерию. Она стоит там, среди душистых баночек и флаконов, — крупная, черноглазая, с такой нежной кожей, что нежней не бывает.

«Лида — лучшая реклама косметической продукции», — сказала о ней Нина Петровна.

«Я не пользуюсь, Нина Петровна».

«Я знаю. Что ж, и пошутить нельзя?»

У Лиды с юмором туговато. Но ей и не нужно. Она стоит, смотрит на всех как-то мимо, иногда отвечает, а часто — нет. Тут не место зубы скалить, верно? И улыбочки всем выдавать — тоже жирно будет.

— Ты чего-то за прилавком как вареная, — сказала однажды Надя.

— Посто́й-ка восемь часов на ногах и запахи эти понюхай — голова болит. Да глупости все их выслушай. «Девушка, у вас есть от угрей?» — «Что от угрей?» — «Ну... чего-нибудь. А от пота ног?» Господи, ведь существуют названия, вот и спрашивайте. И товар весь на виду, я не прячу. И сопроводилки, советы, приложения... Нет, как бараны. Неграмотные, что ли? И сами не знают, чего хотят. А вот Анатолий подошел и четко так спросил: «Мне нужна лавандовая вода. Нет? Тогда...» И я сразу вижу: знает, что ему надо. Интеллигентный человек.

— Не все ведь доценты.

— Не все. Но к этому надо стремиться.

Вот и Лида пошутила. Улыбнулась, взъерошила Надины жесткие волосы.

— Ну, давай. — И ушла. Очень красивая. И вот в нее влюблен доцент.

...Лида живет одна. Их дом сломали, родителям и малым братьям-сестрам дали квартиру в другом районе, а Лиде — однокомнатную — тут, в новом доме.

Надя раньше не бывала у нее — всегда Лида сама заходила. И все говорила: «Не готово еще. Вот уж скоро. Только стеллажи остались». А теперь двери открыты. Комната большая, метров двадцать, и все в ней полированное, темного дерева. Вазы красивые — и цветы, цветы!.. Хорошо, когда твое рождение летом.

— Молодец, Надя, — говорит именинница, — что пораньше пришла, сможешь с закусками.

А Надя руки кремом два дня мазала для мягкости, маникюр сделала. И опять, значит, в кухне...

— Я, Лид, еще не пришла. Видишь — в старом платье, в тапочках. Только подарок притащила. Мне надо отца дожидаться, накормить.

Надя принесла Лиде комбинацию — ей под добрую руку мать подарила: хорошая, с голубыми цветочками по белому полю, с кружевцами. Надя только не хотела, чтоб другие разглядывали: все же белье, как Нина Петровна говорит, вещь интимная.

— Положи на стол, — сказала Лида. — Потом посмотрю, а то у меня руки грязные.

Надя не того ждала. Ей хотелось посидеть у Лидки, привыкнуть, а потом сбегать переодеться и явиться в небывалой красоте. Ну да ладно. Она вышла из Лидино дома. Никого ей кормить не надо, и Лида это тоже знает. Ну и пусть. Что ж это — если Надя младше и такая... ну... простая, обыкновенная, ее по хозяйству гонять можно? Да не такая уж она простая!

И все же пошла сразу домой, а то из Лидкиных окон весь их переулочек видно — может, проверить захочет. Открыла дверь в дом родной, а там уже дым коромыслом. И когда успели набежать? Мать еще не вернулась с работы, а отец уже вполпьяна. Хвалится — заставлял его директор магазина после смены ящики таскать, а он: «Я подсобный, но закон труда и для меня есть». — «Да я, — говорит, — тебе денегат подброшу». — «А мне не надо. Хватает. Я культурно отдыхать хочу». И ханыги его немые, которых мать на порог не пускает, воют хором: «Верно, точно ты ему врешь!»

Надя не удержалась, спросила:

— Ты откуда деньги-то взял?

— Да уж взял, дочка, не сердись.

У Нади защемило сердце. Бросилась к гардеробу: нет, платье на месте. А туфли? Где белые лодочки с узкими носами и тонкими каблуками? Надя их на дно гардероба, под платьем, поставила, чтобы поближе взять. Туфель нет. Полезла в ящик, где обувь,— может, только хотела вытащить да забыла? Волнуется: ведь такой вечер будет!

Вот она, коробка. Открывает — пусто. Взял!

— Ты что, мои туфли пропиваешь?

— Не кричи, дочка. Я тебе получше куплю.

— Как не кричи! В чем я на вечер пойду? Вот я вашу отраву проклятую — за окно! — Она хватает бутылку, в которой уже на донышке. Но несколько рук все равно тянутся защитить.— Вон отсюда! — кричит Надя.— Вон из дома! Гады! Пропойцы!

Отец медленно поднимается. Он любит драться, когда выпьет. Надя отбегает к двери, так и не прихватив нарядного платья. По щекам ее текут злые слезы, руки сжаты в кулаки.

— Подожду сейчас! — кричит она.— Подожду, как тараканов! — И выбегает, хлопает дверью.

«Что делать теперь? Так и идти в тапочках? Да лучше совсем не ходить. Нищенка я, что ли? Побирושка? Все придут люди как люди, одна я...»

Злоба душит ее. Она хватается палку, бьет по окну. Стекло разлетается, из комнаты вырывается столб угарной вони.

— Ах ты!..— Отец ругается и, заплетаясь ногами, вываливается на улицу.

Только Нади уже нет. Долго ли перебежать в соседний дом, домчать до третьего Лидинога этажа.

Ух! Хорошо, что еще нет никого.

— Иди, иди,— тащит ее Лида, усаживает в комнате на диван, руками, пахнущими луком, вытирает со щек слезы.

— Чего ты? Со своими повздорила?

— Я убью его,— зло шепчет Надя.— Я... я... Клещ такой; присосался!

Она уже не помнит жалости, которую испытывала к отцу, только злое, мстительное чувство живет теперь.

— Убегу я от них, вот что! — заключает Надя.— Неужели пропаду?

— Что случилось-то?

Надя, по привычке немного играя, рассказывает.

— Ой, делов-то, печаль какая! — машет белейшей своей

рукой Лида.— Иди выбери себе мое платье. И туфли тоже. Только надень чего-нибудь на ноги. Вон гольфы возьми.

Надя сразу забывает горе. Ей нравятся все Лидины наряды. И идут больше. Ей всегда чужое больше идет. Теперь на нее находит, прямо накатывает веселье. Она кружится по комнате, поет, в вальсе влетает в кухню, подхватывает готовые салаты.

— Постой, постой,— кричит Лида,— давай стол раздвинем.

Раздвигают и накрывают скатертью стол, ставят тонкие фужеры и пузатые рюмочки.

— Я тоже так заведу,— радуется Надя.— Тоже все чистенько...

Надя смеется, изображает, как танцует Миша, как Валерка и сама Лида. Очень здорово получается. Ведь это не всегда одинаково выходит, тут настроение нужно.

— Прямо артистка! — улыбается Лида.— И чего не пошла учиться?

— А ты?

— Деньги нужны. Что им, актерам, платят?

— А меня уговариваешь.

— Да сдуру сказала!

Все готово для приема гостей. Лида еще раз осматривает стол, комнату, снимает с полки книгу, кладет на подоконник. Потом на той же полке находит кожаную закладку, наугад сует между страниц, смеется:

— Знай наших!

Книг у Лиды много — и все новенькие, красивые.

— «Война и мир» у тебя есть? — спрашивает Надя.

— Не помню уже, посмотри сама. Только с полки не снимай.

— Как же я посмотрю?

В это время у двери звонят. Обе девушки выбегают встречать гостей. Гости входят толпой: красивый, с длинным смуглым лицом доцент Толя,— Надя сразу поняла, что это он; его приятель с женой, за ними Бантиков с Валеркой, еще какая-то девица в больших очках — это уж ясно не с ними. А с кем же? Ах, вот оно что! За дверью спрятались Дима и его брат. Надя вздохнула с облегчением: не надеялась, что придут. Сева — он сегодня простой, без строгостей, ну, будто обычный человек,— приложил к подбородку скрипку и заиграл тоненько, нежно, а потом тсек-тсек-тсек по струнам.

И под это тсеканье оба пропели какой-то стишок, что-то вроде:

Расти
в полроста́,
Не аршин
и не верста́,
Зеленей
зѣлено,
Как извѣку
вѣлено...

— С музыкой пришли! — позавидовал Бантиков. — Я тоже гитару принесу. — И побежал вниз по лесенке.

Надя перегнулась через перила, поглядела. Принаряженный Мишка — в джинсах, в рубашке с рисунком на спине. И все же не такой складный, как все они. Даже Валерка со своей детской головкой и то складней.

Лида всех повела в комнату, перезнакомила. На подоконник навалили каких-то пакетов. Наде было интересно, что Дима с Севой принесли, но какой пакет их — не разобрала.

— Саша, Любочка, садитесь вот сюда, на диван, — ворковала Лида над Толиными друзьями. — И вы, Сева, тоже: здесь удобней. Сейчас Михаил придет, и мы закусим.

Сева взял книгу с кожаной закладкой, склонил голову, присвистнул.

— Ого! Марсель Пруст! Нравится, Лида? — спросил вроде просто, но все же как-то свысока.

— Конечно. Залпом прочла.

— Ну, вы гений. Я могу только понемножечку, как лакомство.

Дима взял, полистал книгу, обнял Севу, подозвал глазами девуцу в очках. Надя тоже подошла, хотя ее и не звали.

— Вот! Я люблю это. — И прочитал: — «Я нахожу вполне правдоподобным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, становятся пленниками какой-нибудь низшей твари — животного, растения, неодушевленного предмета; расстаемся же мы с ними вплоть до дня — для многих так и не наступающего, — когда мы подходим к дереву или когда мы становимся обладателями предмета, служащего для них темницей. Вот тут-то они вздрагивают, вот тут-то они взывают к нам, и, как только мы их узнаем, колдовство теряет свою силу. Мы выпускаем их на свободу,

и теперь они, победив смерть, продолжают жить вместе с нами».

Дима захлопнул книгу и поглядел на слушателей нежными глазами. Вроде как Нина Петровна тогда, в кабинете.

— А? И так — несколько томов.

Надя не очень поняла, почему это нравится Диме, но раз уж ему, так и ей! Она, конечно, не верила, что этот вот веник, допустим, который Лида забыла у дверей, может вздрогнуть и оказаться любимым Надиным дедушкой, который три года назад умер и которого Надя очень хотела бы воскресить. Дед был тихий, молчаливый, не строгий, но в доме при нем такого, как сейчас, не было. Его стеснялись. Да, оживить бы хорошо.

— Это все, разумеется, модно, — громко сказал доцент Толя и поглядел на Лиду. — И Пруст, и переселение душ, и всякая там чертовщина — экстрасенсы, телепатия, аура... Но это, знаете ли, фантазия, мистика.

И принялся накладывать салат в тарелку.

— А вы против фантазии? — быстро спросил Дима, как-то неуловимо метнувшись в его сторону.

Надя прямо замерла: как он удивительно поворачивает голову, как остро взглядывает — и говорит не то всерьез, не то в шутку, так что и не обидно и ответить надо.

— Это детская западня, — спокойно отпарировал доцент.

— Почему?

— Давайте поздравим новорожденную, ведь мы ради нее собрались, а потом скажу.

— Тоже верно.

— Где же Михаил? — оглянулась Лида.

Но вот и он пришел со своей гитарой, уселся на оставленное для него место.

— Да здравствует Лидия! Да здравствует красота! — провозгласил Толя.

Все оживились, стали класть себе закуски.

Надя сидела слева от Лиды, рядом с незнакомым Сашей, у которого под боком была своя жена, и именно ей он подкладывал то салату, то икры, то буженины. И Надя решила: «Не буду есть. Пусть все тут питаются, а я не стану. Не самой же за собой ухаживать!»

Ее голодовку и мрачный вид заметила Лида.

— Ты чего? Почему не ешь?

— Угощать некому.

— Давай я.

И навалила полную тарелку всего. Заботливая! А посадить как следует не догадалась — тоже мне подружка!

Надю как-то пришибло это начало со скрипкой и с Марселем Прустом, она не решалась слова молвить, а без этого ей было неинтересно. И Дима на нее не глядел. Он говорил с Севой и с очкастой девицей, иногда спорил с Толей-доцентом. Тот уже сообщил, что это общеизвестно о фантазии: она движет науку. Поэтому он не против.

А Дима спросил:

— И это все?

— Да, я реалист.

Он сказал, что верит в цифры. И вспомнил, сколько километров от Земли до Солнца, и какова скорость света, и какого градуса достигает взорвавшаяся атомная бомба в эпицентре и в стольких-то метрах. И что вот в это он верит.

— А зачем вам все это? — спросил Сева.

«Да, зачем?» — внутренне спросила и Надя.

— Потому что я реалист, — ответил доцент. — Здесь есть непреложность. Это точно.

«Да, это точно, это проверено», — молча повторила за ним Надя.

— Я слышал, что в Америке выпускается Энциклопедия ненужных сведений, — тихо, но внятно проговорил Сева. — Например, фирма Паркер сообщает, что за час работы золото пера ее авторучки стачивается на столько-то унций. Или что при чихании бактерии разлетаются в радиусе...

— Понял, понял, — перебил Толя. — Это крайность. Я же верю в разум.

— Но это не вера, — засмеялся Дима. — Разум знает то, что известно на сегодняшний день. А завтра окажется, что атом стронция, допустим...

— Понял, понял. Но я живу сегодня и знаю то, что сегодня известно. А вера... Теперь никто не верит, что Земля покоится на трех китах... — И встрепенулся: — Что-то мы с вами за-философствовались...

Он уже немного отяжелел и развеселился, и видно, не хотелось ему говорить об этих сложных делах, да еще неизвестно с кем.

А Надя с обидной догадкой, с горечью глядела на Диму, как он весело говорил там, на другом конце стола, как произнес целую речь для брата и очкастой девицы. «Неужели она лучше меня? Подслепая. И мрачная какая-то».

— Лид, спой! — сказала Надя. Ей хотелось порвать это отдельное содружество.

— Ты и поешь? — удивился Толя.

— Да так, немного.

— Что вы, Толя, у нее такой голос! — Надя решила быть вместе с Лидой, с Толей, с Мишкой Бантиковым — пусть Димочка не думает, что она по нему сохнет. Она даже не глядит в его сторону. Очкастую зовут, между прочим, Света. Отвратительное имя. И пальцы у нее длинные, как у обезьяны. Зачем только Лида позвала ее? — А Миша на гитаре подыграет.

Мишка взял гитару, побил немного по струнам, Лида попробовала подстроиться — нет, не выходит.

— Давайте под скрипку, — как-то напоказ щедро предложил Сева.

Он подошел к имениннице, стал наигрывать над ее ухом.

— Ну, что споешь?

— Журавлей можете? — спросила Лида. Она не решилась на «ты». И пропела своим ровным низким голосом:

Чуты кру́, кру-у́, кру,
В чужини умру,
Доке море пэ-е-ере-лэчу,
Крылонька-а-а зитру́,
Крылонька-а-а зитру,
Кру-у,
Кру, кру.

— Ух ты! — удивленно выдохнул Сева.

Он сбросил свой барский тон, сразу нашел, как подыграть ей. Да не лад в лад, а второй. Голос и скрипичный звук то рядом шли, то расходились в туманном небе над далекой, едва видной землей:

Мерехтыть в очах
Бескиечный шлях,
Гинэ, гинэ
в сирем ранци,
Слид по жу-у-у-равлях,
Кру-у,
Кру-кру.

И от всего этого было больно в груди и радостно. И Надя опять, не сознавая того, заплакала, но уже иначе, прощая всем, и любя, и расставаясь с ними, — издалека, из синей хмари посылая им короткий свой привет:

Кру-у,
Кру-кру.

Надя будто улетала куда-то и потом вернулась в эту комнату и поглядела на Диму еще оттуда, из-за облаков. И он смотрел на нее. И кивнул ей, и показал глазами на стул рядом с собой, откуда ушел Сева, — Сева с Лидой наскоро репетировали еще какую-то песню, он говорил тихо и серьезно:

— Ты тяни мелодию, а я — так. Пойдет? Попробуй. Во-во. Не собьешься?

Надя перебежала туда, к Диме, он улыбнулся ей, теперь только ей, будто девочки Светланы вообще не было.

— Вот ты какая, оказывается, — сказал он Наде. — А я думал, шутница, озорница — и все.

Надя ничего не ответила. Она не поняла причины перемен. Она свою силу видела в умении быть веселой, а таких, как она сейчас, которые только слушают, разиня рот, называла разварными. А вот ему разварная лучше!

Лида еще что-то пела, она так никогда раньше не пела. Это из-за Севиной скрипки.

— Это скрипка и виолончель, понимаешь? — шепнул Дима. — Севка придает Лидиному голосу что-то бóльшее, чем в нем есть.

И песни — Надя это точно знала — Лида выбирала другие. Толя-доцент как-то скис. Он, видно, полагал, что он очень важная птица и вроде бы спускается к Лиде на ступеньку ниже, а по Севиной воле получилось иначе. Понравилась или назло? Однако доцента заело, и он сказал, обращаясь к другу Саше и показывая глазами на всю компанию:

— Великие люди, а?

— Помолчи, дорогой, — попросил Дима, проговорив это, чтоб не обидеть, шутейно, с восточным акцентом, — дай послушать, кацо.

— Я уж намолчался за вечер. Скучно, — не принял шутки Толя.

Сева сердито глянул в их сторону: мешают. Толя сказал еще громче:

— Так всегда бывает: поют, потому что говорить не о чем.
— Знаешь, — блеснул глазами Дима, — так и хочется... ну, в общем... руки чешутся...

— Верно! — оживился Бантиков.

— Перекуем мечи на орала, — дурашливо попросил своего друга Саша.

— Мальчики, мальчики, — заволновалась Лида. — Ну, ради меня...

— Хорошо, конечно, приказывай.

Толя не хотел ссориться, а вернее, боялся. Миша же был не прочь. Его злило, что пересела Надя, и что Лида так с этим Севою, и что доцент Толя все время «выступает».

— Давайте за дружбу, — сказал он.

Но никто не отозвался. Что-то расстроилось за столом. Получалось, что каждое слово — не к месту. Даже неизвестно почему.

— Чего-то как-то стало... — начала Надя, обращаясь к Диме, и не докончила.

Он кивнул ей. Потом ответил:

— Есть одно такое учение... ну, философское, нет, скорее, теософское. Там говорится, что недобрые мысли и слова вызывают ядовитые эманации, которые заражают воздух и осаждаются на окружающих предметах.

Надя глядела на него понятиливо, будто каждое словечко попадает в цель.

И Дима, кажется, поверил ей.

— Какая-то муть сегодня заумная идет! — проворчал Бантиков.

И Толя тоже высказался:

— Мы с этой девушкой...

— Ее зовут Надя, — перебил Дима.

— Ну вот, мы с Надей люди простые, для нас это сложно. — Он имел в виду, конечно, не себя, а Надю.

— С Надей все в порядке, — ответил Дима. — А вы... Ну да, вы ведь против всякой там фантазии, интуиции!

— Я за информацию, которая — мать интуиции, — подтвердил доцент Толя.

— Вот мы и вернулись на круги своя, — снова сверху вниз заговорил Сева, стоя возле занятого Надей стула. — Ну, давайте все сначала.

Но сначала было нельзя. Лида очень кстати включила проигрыватель, и Сева пригласил Надю танцевать. Они танцевали отдельно, но согласно.

Надя заметила, что все смотрят, не танцуют. Она вспомнила, что у нее широкая спина — это ей сказала Вера Тевелева, и что ноги худые.

Она вечно мучила себя то этим, то чем-нибудь иным: огорчало круглое лицо, например, прямые волосы, глаза, вытарашенные, как у лягушки. Но порой все уходило, было не так уж важно, как выглядишь. И сейчас было неважно, потому что так хорошо и ладно танцевалось и все смотрели, а Мишка Бантиков тяжело насупился, уставился мрачно, будто у него отнимают что-то. Надя пролетала мимо Димочки, касаясь его лица вихрем азарта, веселья, так что он начал, а за ним и все, прихлопывать в такт их пляске и неизвестно чему радоваться.

Когда кончилась пластинка, Сева пошутил, сказал Наде с поклоном, будто оттуда, из «Войны и мира»:

— Оставьте за мной мазурку.

Лида выскочила плясать цыганочку (Толя поморщился).

Миша схватил гитару подыграть ей. Молчаливый Саша вскочил, стал неуклюже кружить возле Лиды и прыгать вприсядку, его жена собралась уходить, а потом Мишка оборвал цыганочку и стал отбивать что-то уличное и вдруг закричал:

Не забуду мать родную
И отца, бухарика,
Целый день по ним тоскую,
Не дождусь сухарика!

Лида подошла незаметно, попросила:

— Не заводись!

И Надя насторожилась. Она знала, что его теперь остановить трудно.

Лида стала вырывать гитару, а он уже без музыки начал кричать что-то невнятное, а потом, положив голову на стол, сделал вид, что заснул.

Сева посмотрел на часы.

— Пора.

— А чай?! — испуганно вскрикнула Лида.

— Поздно уже, Лида, — смягчил Дима. — Оставим на завтра, ладно?

Сева, Светлана и Дима поднялись. Надя тоже двинулась к двери.

— Пойдем, пойдем, — потянул ее за руку Дима. — Ты еще маленькая так поздно в гостях засиживаться.

И вот они в переулке. Мишкина выходка ничего не испортила, только, может, ушли пораньше.

Сева разговаривал с очкастой Светланой, Дима же — с Надей о ее подруге, что она прелесть, эта Лида, а голос какой! Но Надя понимала, что это ерундовый треп. Она смаковала свой кусочек счастья: ночной переулок, молодая зелень под фонарем, их — ее и Димина — тени на асфальте. Он не намного выше ее — это и по тени видно, — худой, подвижный. У него и лицо подвижное, меняется все время — то от быстро проходящей и сбегающей улыбки, то от глаз, которые вдруг блеснут, иногда совсем неожиданно.

«А я — как деревяшка. Как береза. Что я ему могу сказать? У меня и слов нет. И голоса нет. Дерево. Как он там читал в этой книге: ...и души тех, кого с нами нет... Как только мы их узнаем, чары спадают, и они, эти души, выходят на свободу. Из зверя выходят или из дерева, из неодушевленного предмета. Надо только, чтобы узнали... Узнай меня! — молча молила Надя. — Узнай, узнай!»

— Ну, Надежда свет Ивановна, разрешите попрощаться, — церемонно раскланялся Дима и вдруг поцеловал ее в щеку. — Чао, плясунья. Привет!

Надя так и осталась стоять возле своей калитки. Узнал?!

Дима догнал брата со Светланой, заговорил о чем-то оживленно и не оглянулся. Все-то она вообразила, глупая деревяшка. Но ведь... он же позвал ее от Лиды и шел рядом. И когда танцевала... «Плясунья»...

— Чао, Дима.

В доме было темно. Разбитое окно заткнули газетой.

«Будут драться — убегу. Я куда хошь теперь убегу!»

Дверь заперта на один ключ. Открыла. Отец спал в сенях на деревянном лежаке — мать всегда прогоняет его в сени, когда он ухнется.

«И отца, бухарика...»

Мать вздыхала, ворочалась, но — ни словечка. Свои дела, свои заботы. Никто не ругал. Но и не ждал никто. Разве это дом? Разве дом?

Утром Надя проснулась рано. Ее и Алькина комната, отгороженная на деревенский манер неполной перегородкой от «горницы», вся в солнце! Ветки смородины так и жмутся

к стеклу. За ними да за разросшейся у забора рябиной едва видна серо-белая стена большого дома, е го балкон. «Чао»!

Она вскочила — хорошо, что все еще спят! — быстро умылась и оделась во все Лидино. Разве тут можно чего оставить?.. «И отца, бухарика...»

Сегодня почему-то не было так обидно. «Заставлю их купить туфли, и все. А что в Лидином, может, даже и лучше, может, оно счастье приносит. Вечером отдам».

В саду, как раз с той стороны, где е го дом, в зарослях малины, прямо к сосне прибит рукомойник — летнее умывание. Когда все спешат, очень удобно. И там же, незаметный среди зелени, лаз в бывший соседский сад, а теперь — прямо туда, к е го лоджии. Как легко прежде Надя разводила две закрепленные только сверху досточки и оказывалась во дворе своей подружки Лены, которую теперь поселили где-то на другом конце Москвы. А сейчас было боязно — вдруг он выглянет? Но если идти мимо их дома, путь сокращается почти вдвое, там проходные дворы и дворики. Ну не вдвое, а все же.

Надя пробралась сквозь кусты (не порвать бы платье!), отодвинула планки забора и даже замерла — так близко оказался дом. Развела ветки, прошла прямо под е го лоджией (теперь не увидят!) и — сквозными дворами, тропинками мимо деревьев и травы... «Хорошо тут у нас! Интересно, е м у нравится? Надо спросить».

У Нади сегодня практика. Значит, магазин. Ей и нрави-лось, и нет. А почему? Немного надоело — все в подсобном да в подсобном помещении: подглядь, подшей... А когда мастер Анна Ипатьевна, еще не старая женщина (она тоже окончила это ПТУ, а потом уж техникум), вывела их в салон, оказалось как-то скучно. Вообще-то Анна Ипатьевна все больше вози-лась с мальчиками. «Мальчишки лучше,— говорила она,— они откровенней. Сделал что не так — скажет. А вы начнете, начнете вертеть!»

Будто сама не такая же.

Надя теперь в магазинах узнает своих пэтэушников, даже с третьего курса. Их охотно выпускают в салоны муж-ской одежды и обуви, радиотоваров. Они привыкли, ходят там ласковые, внимательные, отрабатывают свои тридцать три процента от зарплаты.

Вместе с Надей в отделе готового платья Верочка Тевелева.

Почему ее не взяли в парфюмерию? Хорошенькая, складная. Впрочем, может, среди готового платья нужны не только рассудительные, но и такая вот чистенькая не помешает. Она особенно чистенькая, Верочка. Поведет голубыми своими глазами, тряхнет аккуратной коротко стриженной головой, так что в ушах вспыхнут белые — под бриллианты — камушки:

— Я бы ничего здесь не купила.

— А я бы вот это!

Там есть такие платья — коричневые, в клеточку, расклешенные, удлиненные по моде, с маленьким воротничком, с отделочкой. Наде сразу понравились. Вот их она охотно приводила в порядок, развешивала, расправляла воротники. Их и немного совсем. И почти все маленькие — сорок четвертый, сорок шестой размер. А уж хватают их! Раньше Надя просто любовалась, а сегодня так захотелось!

— Вера, а что, если купить?

— Купи. Деньги есть?

Нет, денег не хватит. Зря не откладывала свою тридцатку — стипендию. Могла бы на платье набрать и на туфли к нему. И духи у Лиды купить — она бы сказала какие. А если бы постаралась, то и тридцать семь рублей — это если на все пятерки... Вернее, тридцать семь пятьдесят. Ну, за семь пятьдесят, может, и не стоит так уж выкладываться... Впрочем, сегодня показалось — стоит. Были бы новые колготки, например. Плохо ли?

Она мысленно приделась, мысленно прошлась вдоль нового дома. Никто не глядит из лоджии? И не надо. А может, за прозрачной занавеской? Ведь с ней, с занавеской, такое дело: с улицы не видно, а из комнаты — очень даже... «Чао!» «Плясунья...»

— Чего это ты как имснинница? — спрашивает Верочка Тевелева.

— Знаешь, — говорит Надя, — я, наверное, скоро замуж выйду.

Глаза у Верочки от удивления — на пол-лица.

— Предложение получила?

— Почти.

— Смотри, пусть все честь по чести. С загсом. А кто он?

Студент.

— Кем будет-то?

— Ученым, кем же еще. — Надя знает, но ей не хочется

говорить, что педагог. Что это за педагог?! — Он едет на Север песни собирать.

— Не боишься отпускать-то? Заведет там кого-нибудь.

Надя даже не думала, что Верочка такая предусмотрительная.

— Ну что, девочки? Пойдемте в салон. — Это явилась за ними наставница.

— Анна Ипатьевна, а наша Надя замуж выходит!

Женщина смотрит в смущенные Надины глаза и, кажется, все понимает. Она знает Надю, сама принимала ее год назад. Там надо было, кроме свидетельства о восьмилетке и всяких справок — медицинской, из домоуправления, с места работы родителей (вот даже как!), — еще две фотокарточки. Надя сфотографировалась, но такая страшная получилась! Не то что за прилавок — от магазина гнать надо: всех покупателей распугает. Вот она и попросила у Альки — у той всегда полно. Выбрала, где посерьезней, и принесла. Анна Ипатьевна говорила с ней — хорошо этак, душевно, что, мол, в жизни могут быть и трудности, все надо рассказывать мастеру...

«Ты с мамой-то откровенна?»

Надя посмотрела: сидит ее Александра Алексеевна принаряженная, лицо напудрено, белое, без пятен, толстые пальцы вцепились в маленькую сумочку, платье шелковое, цветастое, в обтяжку, можно подумать — отличная мамаша.

«Нет, — говорит Надя. — Мы не очень друг друга понимаем».

Тут директор Нина Петровна первый раз подошла. А мастер, Анна Ипатьевна, ей глазами на документы показывает. Та поглядела на фотокарточку, на Надю, улыбнулась, ничего не сказала. А когда отошла, Анна Ипатьевна говорит:

«Не твоя ведь карточка-то».

«Моя. Я просто сегодня выгляжу похуже».

«Черты лица другие».

«Что вы! У меня лицо фотогеничное, вот и вышла красивой. И волосы длинные мне идут, а я их зачем-то срезала».

«Ну, хорошо. Потом заменишь».

С того раза мастер не очень ей верит. Вот и сейчас, видно, не приняла всерьез. Не поздравляет. Просто обнимает девочек:

— Ну, пошли, пошли.

В салоне не оченьлюдно. Кроме этих клетчатых платьев, ничего интересного нет. А платья эти берут. Меряют, меряют. Одна толстая схватила. И кажется, последнее.

— Вы порвете! — спешит за ней Надя.

— Порву — заплачу, — отвечает та заносчиво, уходит в примерочную, копается там.

Неужели больше нет таких?! Надя бы заняла денег. Да и мать, может, дала бы. Нет, у нее нечего просить — три года потом вспоминать будет. Уж и платья давно нет, а она все: «Помнишь, я тебе купила. А ты мне что? Опять в училище вызывают».

А вызывали-то из-за нее, из-за матери: надо было уроки учить, а мать погнала в свою палатку помогать. Вот и схлопотала двойку. «Почему, — говорят, — не учишься?» А Надя так прямо и рубанула: «Мать мешает. Целый день вчера то лимоны перебирала, то песок развешивала». Мать тогда вернулась из училища прямо зеленая. «Ну, доченька! Ну, помощница растет!»

Нет, у нее просить нельзя.

Эту женщину в примерочной как заклинило.

— Повесилась она там, что ли, на пояске? — шепчет Надя подружке. Вера прыскает в кулак.

— Чего вы? — оборачивается продавщица. Ее зовут Зоя Павловна, она уже седая, с ними, с девочками, строгая, а перед покупателями так и стелется: «Пожалуйста... Поглядите еще... Сейчас узнаю...» Прямо чудная какая-то. Надя таких и не встречала. Зато тут же есть и другая, помоложе, побойчей, — Валя. Она любую отошьет, если нужно.

Наде до зуда в пальцах хочется это платье. Померить бы и отложить. Ведь работает тут, да чтоб никаких льгот?!

— Ну что у вас? — подходит она к примерочной.

Женщина с трудом вылезает из платья. Лицо красное, волосы встрепанные.

— Я же говорила — мало, — торжествует Надя.

А женщина вдруг оборачивается в своей черной комбинации и этак гордо:

— Выпишите.

— Но вам же...

— Это вас не касается, девушка.

Конечно, Надю не касается. И черт ее дернул за язык! Ведь назло берет, назло! А Надя остается без платья. Неужели последнее?

— Такого нет больше? — растерянно спрашивает она у Зои Павловны.

— Нет, все. Давай-ка выпишем.

Прекрасное платье, во сто раз более прекрасное оттого, что

уплывает в жадные руки толстухи. Ведь это платье для молодых! Куда ей! Дуреха!

— Не соображает,— жалуется Надя Анне Ипатьевне, которая бродит тут же.— Разве ей подойдет?

— А ты бы отсоветовала.

— Как?

— Ну, деликатно. Поглядела бы. Если узко, показала где. Это входит в наши обязанности, ведь мы об этом говорили.

И правда. Как она забыла?

А Верочка тем временем помогает какой-то старухе выбрать нужный размер. Она разглядывает ярлычки, читает вслух — бабка подслеповата.

— Девушка,— зовет модная, красиво покрашенная женщина.

Надя охотно подходит к ней. Она бы тоже так покрасилась — с тенями, с крем-пудрой, и тоже, чтоб не так уж заметно.

— Девушка...— И переходит на шепоток: — Тут на днях были платья типа сафари...

— Но их уже нет,— с сожалением отвечает Надя.— И потом, они с синтетикой.

— Ничего. Мне очень нужно,— шепчет женщина.— Достаньте, пожалуйста.

— Они распроданы,— со всей искренностью отвечает Надя и хочет идти.

— А вы посмотрите... Я вас отблагодарю.

Надя густо краснеет и отходит.

— Девушка!

Возле модной женщины возникает Валя. Они говорят и кивают головами. Но ведь этих платьев действительно нет.

Женщина открывает сумочку, что-то записывает на клочке бумаги, отдает Вале.

— Но пока не обещали! — уже отходя, громко заканчивает разговор Валя. Однако записочку с телефоном прячет в карман.

«Где она возьмет? — гадает Надя.— Может, отложила? Но где здесь отложить, чтобы незаметно? Или купила, унесла домой? И интересно, как эта модная отблагодарит?»

Валя проходит мимо Надежды, независимо поводит плечом. Надя смотрит на нее, прямо не отводит глаз.

— Чего она тебе там молола? — спрашивает наконец Валя.

— Что и вам, — отвечает Надя.

— Привезут — позвоню, — показывает Валя на карман. И Надя понимает, ясно понимает, что у Вали есть уже это платье. Где-то здесь есть. Может, и клетчатое осталось?

Надя спрашивает. Валя секунду одну только думает, потом, что-то смекнув, говорит весело:

— Вообще-то они кончились. Ну да ладно, приноси деньги. Только завтра. Не позже.

Тут ничего такого нет. Надя, идя домой, размышляет об этом. Ничего такого. Но что-то и есть. Если бы та женщина сразу подозвала Валу, никакого клетчатого платья ей, Наде, не было бы. Разве не так? Так. Именно так. От Надиного знания, от ее понимания вроде бы откупаются. А может, нет?

Надя по деревянным ступенькам поднимается на свое крыльцо. Открывает незапертую дверь. В доме еще всюду воняет этой отвратительной смесью водки, табака, пива, какой-то человеческой затхлости, пропащести. После отца всегда так. Мать почище, она, даже когда пьет, старается, чтобы в доме не полный разор. Ну, не всегда, конечно, получается. И дочек понуждает: «Пол вымойте, лентяйки. Давай, давай, Надя, давай, доченька». Так ласково и смотрит своими порыжелыми, мутными глазами белки в красных прожилках, веки опухли. Неужели она была красивой?

Сегодня мать почему-то дома. Заболела, может? Или отгул? А может, отпуск? Тогда совсем житья не будет. Надя молча проскальзывает в свою комнату.

— Это что за наряд такой? — вскидывает голову мать. То сидела на кровати, чего-то там шила, а тут увидала: доченька родная пришла в хорошем платье.

— Это Лидкино.

— Зачем взяла?

— Не знаешь, что ли? Отец мои туфли пропил

— Я про платье, она про туфли.

«Ничего себе мамаша! И еще задирается! Не отец, значит, виноват, а я?!»

— Покупайте мне теперь, не в тапках же ходить!

— У тебя расхожие есть. Отец получит — купит.

— Купит он, держи карман.

Они переругиваются без злобы: пропил не в первый раз. Но голоса их грубы, лица насуплены. Надя за перегородкой перседевается, причесывается перед зеркалом. Нет, она ни-

чего, улыбка хорошая. Вот если подстричься, как Верочка, да накраситься, как та, с тенями...

Она заворачивает платье и туфли в газету, все это кладет в сумку.

— Я к Лиде.— И уходит.

Лида, если попросить денег, не даст. Надеть свое даст, а деньги нет. Потому что Наде особо и отдать не с чего. Что ж — дарить? Она права. Надя отдает платье. Лида сегодня хмурая, бледная.

— Анатолий у меня юлит.

— А что он?

— Да так. Он, видно, жениться не хочет. Будто я прошу, прямо в ногах валяюсь. Им всем кажется, что мы только и мечтаем. А на что он мне?

Надя понимает: что-то произошло, только Лида прямо сказать не хочет.

— А меня Димочка вчера поцеловал! — вдруг выпаливает Надя. И рот сам расходится прямо до ушей.

— Ну их всех, — так же сумрачно отвечает Лида. И добавляет: — А ты душой не будь, не попадись.

— Что ты!

Надя целует Лиду в щеку, свежо пахнущую женьшеневым кремом, быстро выбегает из квартиры.

Старик, то есть Пал Палыч, живет в соседнем подъезде. Ему хорошую квартирку дали, две смежные комнаты, и телефон сразу провели — ветеран, что ли? Надя уже была один раз — он ей тогда книжку дал. «Ах, забыла у Альки взять! Ну да ладно, не из-за книжки иду».

Павел Павлович встретил без особой радости. Был он полуодет (долго не открывал — видно, из-под душа вылез), в старых обвисших штанах, в незастегнутой рубашке и шлепанцах.

— Кто, кто там?

— Это я, Надя, откройте, Пал Палыч!

— А... — И он открыл. — Войди пока в кухню, я оденусь.

Он давал понять, что пришла не вовремя и что вообще что-то не так. Говорить о деньгах стало неудобно. Но ведь надо. Как быть?

Старик вышел строгий, в сером костюме, в котором на прогулку ходит, в ботинках.

— Ну, зачем пожаловала?

И Надя сказала ему зачем. Чего зря тянуть?

— Сколько?

Она ответила. И добавила, что скоро отдаст, потому что стипендия, да еще...

— Ладно. Только не сегодня. Мне с книжки надо снять.

Надя загрустила.

— А тебе сегодня надо?

— Да. Чтоб завтра в магазин принести.

— Хорошее платье?

— Очень!

— Ну, пойдём, может, успеем.

И пошли, и успели!

Надя даже не думала, что он так легко даст. И взять было легко. А то у других займешь — будто в грязи изваляешься.

— Купишь — покажись, ладно?

— Конечно!

— Может, чайку попьем?

В комнате у старика большая, во всю длину, белая полка, сколочена грубо — сам, похоже, сделал. На ней книги. Не как у Лиды — по размеру подобранные, а разные: ни одного собрания сочинений.

— Пал Палыч, а у вас Толстой есть?

— Что ты хочешь?

— «Войну и мир».

Он, почти не глядя, снял с полки. Видно, читает их. Знает.

— Экзамены, что ли?

— Нет. Такой разговор был. У нас в училище Нина Петровна, директор, ну прямо... знаете... Я таких вообще не видела. Просто чудо!

Старик улыбнулся:

— А ты многих вообще-то видела?

— А как же! Вы не смотрите, что я молодая. У меня год за два идет, как на Севере.

Наде захотелось пожаловаться на судьбу, на родителей — ну прямо к горлу подступило. И еще другая причина: чем-то надо было отплатить ему за щедрость. Откровенность тоже ведь чего-то стоит.

Надя отодвинула недопитый чай, заговорила, перегибаясь через стол:

— У меня мама, она отца не любит. И вышла не по любви, а с досады. Ее бросил там один. Начальничек. Я карточку свадебную видела — мне Мишка Бантиков показал. Отец красивый, а мать так глядит — не то зло, не то... И понятно, сразу понятно, что он ей не нужен. Как он решился?!

— А мама твоя кто?

Неужели он не знает? Все знают, а он — нет?

— Продавец она. Вот тут, в палатке, овощами-фруктами торгует. А зимой в магазине. Не видели?

— Может, и видел, а не знал.

Надя пошла дальше, дальше: как мать придирается, шагу ступить не дает — все с оговором, и про туфли, и что не одевают ее, а вот Альку одевают.

— Может, я им вообще чужая? Подобрали где-нибудь там, на стройке. А потом Алька родилась, вот я и лишняя.

— Алька, ты говоришь, красивая? — опять улыбнулся старик и недоверчиво: — Красивей тебя?

— Конечно. Она на отца похожа.

— А ты?

— Говорят, на мать. Вообще-то, да, на нее. Только она лучше была, если судить по карточке.

— А ты? Чем не хороша?

— Я же вижу, Пал Палыч. Вы меня не утешайте.

— И я вижу. Очень интересная девушка. И ребятам, наверное, нравишься.

— Это верно. Так ведь я веселая. И изобразить любого могу. Отца — хотите? Как он после получки идет...

— Нет! — прервал Павел Павлович. — Нет, Надя. Не хочу. Этого делать нельзя.

Она не спросила почему: не любила, когда мораль читают. Помолчали.

— Я пойду, — встала Надя.

— Постой. Неужели тебе никто никогда не сказал... Не все же можно высмеивать... Есть ведь... ну, благородство, что ли.

— Ладно, Пал Палыч, я спешу.

— Тогда иди. — В дверях остановил ее: — Ты вот что, ты приходи ко мне. Я тебе всегда рад. А когда соберешься — позвони по телефону. У кого телефон, того всегда можно предупредить: иду, мол, к вам. — И опять улыбнулся: — Вылезайте из ванны... — Старик принес лист бумаги, авто-ручку. — Пиши.

Надя своим широким, зыбким, точно волнами поколебленным почерком написала: «Павел Павлович» — и подняла голову:

— А фамилия?

Он назвал фамилию — Стаев — и телефон. Поглядел на листок:

— Какой у тебя странный почерк, девочка.— И вдруг спросил: — Твоего отца как зовут?

— Иван.

Неужели пойдет с ним говорить?

И поправилась:

— Иван Степанович.

— А маму?

— Александра Алексеевна. А фамилия наша Горюкины. Понимаете? То ли от слова «горе», то ли — «пить горькую». — И доверительно сообщила: — Тут один парень есть, студент, Димочка зовут, так он сказал, что, если бы работал в отделе кадров, принимал бы по фамилиям. Крикуновых, Дураковых, Пьяновых, Лакеевых не брал бы. Смешно, да?

Павел Павлович кивнул:

— Умненький парень, да?

— Ой, что вы! Он все знает, про что ни спроси. Он еще говорит, — и Надя подняла палец, чуть-чуть передразнивая Димину манеру говорить серьезное как бы в шутку: — «Культура — это, брат, богатство ассоциаций». Знаете, что это такое?

Старик пожал плечами.

— Вот и я спрашиваю: как, мол, вас, брат, понимать? А он: «Вот ты едешь в метро, проезжаешь станцию «Свиблово», да? И тебе это ничего не говорит. Неблагозвучное название — и все. А другой вспомнит, что здесь была дача Карамзина, писателя...» — И пояснила Пал Палычу: — Ну, который «Бедную Лизу» написал.

— И «Историю государства Российского», — добавил Пал Палыч.

— Ну вот, — обрадовалась Надя, — у вас, значит, тоже есть культура. А кто ничего не вспомнит, у того нет.

И они оба засмеялись, довольные таким открытием.

— Ну и придумал парень! — покачал головой Пал Палыч. — Твоя любовь, что ли?

— Как вы узнали?

— Я старый, Надюша. Кое-что соображаю.

— Только — никому, ладно?

— Уговор.

«Вот толковый старик какой! Сразу про Димочку догадался! Свой старик. И к родителям он не пойдет. Это он так, нарочно, чтоб я их по имени-отчеству, с уважением, с поклоном. «Иван Степаныч, будьте добры, перестаньте дубасить Александру Алексеевну!», «Александра Алексеевна, пожа-

луйста, отдайте сковородку, а то вы пробьете кумпол Ивану Степановичу. А там, может, мысли».

Надя усмехнулась, но не совсем развеселилась. Потому что интересно было бы это все представить в лицах, а после наставлений старика как-то расхотелось.

Уже подбегая к дому, она нащупала в кармане бумажину с телефоном. «Эх, если б не учил! А то учит... Новый папаша нашелся. А вернее, дед. Пусть бы он был моим дедом. Нет, дедушка свой был хорош. Лучше — отцом». И позвала молча: «Отец!»

* * *

«Наконец я понял, кого она мне напоминает. Как странно судьба не дает забыть о себе. Вот вроде — без всякой логики — вспомнил на днях молодость, относительную, конечно... Вспомнил, потосковал даже. И — пожалуйста. Является Сашенька, только светлоглазая, крученая, бойкая, но Сашенька ведь! Я не хотел бы удостовериться в том, что Надя именно ее дочка, хотя вполне вероятно.

Павел Павлович сидел у окна — у него теперь было вдоволь времени, чтобы думать и вспоминать. Он, собственно, одинокий старик. Жена давно взяла развод; сын приезжает раз в два-три года... Да, надо дать ему новый адрес. Вот и забыл. О родном-то сыне забыл!

Он достал конверт и бумагу, небыстро сочинил письмо на тетрадную страничку. Какими чужими стали, а! И Витя, наверное, так же выжимает из себя слова. Заколело сердце. Он сунул под язык таблетку валидола, дописал письмо и вышел на улицу.

Было еще не темно, серо-оранжевый туман стоял над оставшимися палисадниками и над березами недалекого парка. Там еще не соорудили никаких танцплощадок и игротек; возле скамеек и круглых, врытых в землю столбов росла высокая светлая трава. Солнце село и снизу подсвечивало облака, и они золотисто плавилась в неярком вечернем небе. В этом году была красивая весна; и лето начиналось тоже хорошо: сухое, горячее, но с облаками, с дождями. Так что все промыто кругом. И для урожая хорошо. Павел Павлович привык думать об урожае, хотя понимал: все это так далеко, так заставлено всякими препятствиями, помимо природных: уборка (успеют ли убрать), перевозка (сумеют ли вывезти), хранение (не сгноят ли), — что и прямой зависимости от

солнца и дождей вроде бы не осталось. Но он ведь, как и Саша, из деревни. Уехал навсегда, а не забыл. Навестить бы. Там сестра осталась Татьяна. Постарше его.

Павел Павлович шел и шел по переулку, по его проезжей части. Тут еще не было тротуаров, а как в деревне — проселок, и тропинки вдоль домов, и скамеечки — семечки грызть, о соседском говорить, в курсе всех дел быть: кто куда пошел, кто чего понес — поросенка купил, у соседки соли занял, рыбу в реке поймал... Эх, съездить бы в свою деревню!

Навстречу, груженная сумками, шла статная женщина, еще не старая. Может, она? Саша?

Даже кровь от лица отлила. Заволновался. Старый, старый, а тоже... Чудно устроен человек!

Женщина глянула мимоходом, устало мотнула головой, смахивая с лица волосы. Нет, не она.

И понял вдруг: пойдет он, пойдет глядеть на Надину маму Александру Алексеевну, которая работает в палатке «Овощи-фрукты». Сегодня, конечно, уже поздно, какие там фрукты, а завтра пойдет. И, успокоенный и встревоженный одновременно, свернул на соседнюю улочку, и еще, и еще свернул, изучая, обживая новое место обитания. В ветках возились негородские птицы — синицы, дрозды; тяжело, точно в ямы проваливаясь, порхнул дятел. Было отчего-то легко, хотелось жить. Даже не работать, а просто двигаться, видеть, дышать.

...Он пришел к палатке часов в одиннадцать. Очередь была невелика — давали парниковые огурцы, а уж они не редкость. За прилавком, плохо различимая за немытыми стеклами, быстро и молча работала плотная женщина с обесцвеченными и мелко завитыми волосами. Нет. Не она.

Песни каждого, кто подходил, были обычны:

— Мне помельче, Шурочка.

— Вот этот сними.

Женщина не глядела и не отвечала. И разумеется, не делала того, о чем просили.

Обычная. Саша бы не так.

«А как? Откуда я знаю, как бы она?»

Павел Павлович встал в очередь, у него и сумка была. Когда подошел, молча протянул деньги.

— Помельче? — переспросила продавщица, видимо уже изрядно раздраженная и удивленная отсутствием просьбы.

— Мне, Саша, все равно, — ответил он.

Женщина подняла голову, и он увидел на круглом, мясис-

том и опухшем лице знакомые темные глаза, которые узнали его. Узнали, затаились, спрятались.

— Здравствуй, Саша, — неожиданно для себя сказал он.

Глаза оторвались от весов, глянули прямо и бестрепетно.

— Здравствуйте, Павел Павлович. — И женщина подняла толстыми пальцами грязный пластмассовый таз, в котором взвешивала товар.

Он подставил сумку.

— Спасибо.

— Кушайте на здоровье.

В голосе не было вызова, но радости, интереса тоже не было. Можно ли так встретиться?! Дурак, дурак старый! Понесло, не мог подождать. Разве приятна женщине такая неожиданность? Да ей надо было дать одеться, прихорошиться, почувствовать себя в силе. Ей надо было праздник сделать!

Ну ладно, раньше тебе было не до того: занят, работа, ответственность, одно слово — начальство. А теперь? Да ты просто не умеешь. Задним умом крепок. Испортить мастер, вот ты кто. Обычный мастер порчи.

Но какая стала Саша! А какая? Приведет себя в порядок, так еще красивая женщина. Сколько ей? Наверное, и сорока нет.

Вчерашняя радость съежилась, отступила. Спешить было некуда. Старик сел на скамеечку возле чьего-то дома, запрокинул голову к солнцу. Тени от листьев заходили по лицу, слышнее стали птицы.

Не так надо было. Надо не так.

И снова понял, что непременно еще подойдет к ней, но иначе. Помнил ведь о ней столько лет, и вот тебе — «здравствуй», «здравствуйте». Не по-людски как-то.

Он думал о Наде. Странно, что она так просто и грубо говорит о старших. Саша, которая под конец его уже в грош не ставила, к матери, помнится, обращалась на «вы»: «Мама, отпихните про брата Васю...» Неужели Саша никогда не сказала дочке, что так нельзя, невозможно? Что если так, то все рушится, ломается, тогда можно все, нет дорогого и нечего жалеть. Такая тяжелая свобода!

Может, конечно, Саша и не знает о своей дочке. Но ведь положено, должно знать.

И старик думал, как поговорит с ней о Наде, поможет ей что-то понять в ее девочке. И снова вдруг видел прямой,

бестрепетный Сашин взгляд, опухшее грубое лицо и если не понимал, то догадывался, что он со своим разговором опоздал почти на двадцать лет.

* * *

Из всех уроков Надя больше всего любит химию. Во-первых, она понимает все эти формулы и ей легко отвечать. Нет, это не во-первых, а, наверное, в-третьих. Во-вторых тогда — кабинет. Он, как говорят, один из лучших среди всех ПТУ. И если ты серьезный человек, приходи, пожалуйста, и ставь опыты сам, никто не погонит. Надя этого не делает, но иногда ей хочется. И нравится, что можно. Что так распорядился преподаватель. Вот он, наверное, и есть «во-первых».

У них сразу возникли, что называется, небезразличные отношения.

Молодой человек, бледный, щуплый, в больших очках, вошел тогда в химический кабинет вместе с Ниной Петровной. Все встали, приветствуя педагогов. Нина Петровна представила юного химика (других не представляла), сообщила, что зовут его Кузьма Иванович Потапов, и ушла, пожелав хороших занятий. Кузьма Иваныч полез на кафедру и споткнулся о ступеньку.

— Осторожней! — внятно сказала Надя.

Засмеялись.

Молодой Потапов смутился, поправил очки, которые почему-то съезжали на кончик острого носа.

— Сегодняшний урок, — начал он таким густым басом, что класс ахнул. — Тема нашего сегодняшнего занятия...

— Иван Кузьмич, очки! — снова громко проговорила Надя.

— Меня зовут Кузьма Иваныч, — обиженно поправил он.

— Простите, — ответила Надя.

Но тут очки опять поползли, и теперь уже Вера Тевелева пискнула:

— Очки!

— Спасибо, — прошептал учитель и снял их вовсе. Хотел сойти с кафедры, но кто-то крикнул:

— Осторожно, ступеньки!

Он был робкий, а они бойкие, особенно девчонки. Заметили, что его обижает, когда путают его имя, и взялись. Начала Надя.

— Потап Кузьмич! Ой, простите Кузьма Потапыч. Ой...
Класс смеялся, он надувался.

— Ответьте на ряд вопросов, Горюкина, — мстил он.

Надя отвечала. А когда не знала — не плавала, а так и сообщала: не знаю. Он ставил тройку или четверку, двойку — никогда. Справедливый. Однажды отобрал записку, пущенную Надей. Это была игра в слова: к какому-нибудь слову приписывали другое, сходное по звучанию, следующее — сходное с предыдущим, и в конце столбца оказывалось слово, очень далекое от первого. Это Димочкина игра. Однажды из его кармана выпала бумага с таким столбцом. Надя спрятала, потом прочитала, не поняла. Спросила. Дима объяснил, сказал, что они иногда с Севой так играют. Особенно после ссоры. Очень помогает. Надя принесла игру в училище, сначала не пошло, а потом, когда попривыкли друг к другу, хорошо получалось. Вот и тут. Надя написала: «Потап» — и пустила по ряду.

«Потоп» — подписал умненький мальчик Коля Золотцев.

«Поток», — дополнила Вера Тевелева.

«Каток», — втиснул рыжий Петя.

И пошло:

«Комок»,

«Замок»,

«Залог»,

«Зарок».

Вот тут молодой Кузьма Иваныч, ходивший вдоль столов и объяснявший опыт, который не все делали, и взял листок. Он иногда очень хорошо видел. Потапов сразу узнал зыбкий Надин почерк, сразу понял, почему именно началось с Потапа, и глянул на Надю не сердито, как обычно, а растерянно.

— Я, наверное, уйду от вас, — сказал он и опять посмотрел на Надю. Будто сообщил ей одной. Надя поднялась.

— Простите, Кузьма Иваныч. — Она не боялась, что влетит: Кузьма никогда не жаловался. Ей стало жаль его.

— Девочки, — сказала она после урока, — давайте создадим ему условия, а?

А девочкам — что? Пожалуйста.

И тогда стало заметно, что он хорошо объясняет. И что даже ничего себе. Это когда улыбнулся. Получилось вот как: в начале сдвоенного урока Потапов спросил у рыжего Петра формулу водного раствора аммиака. Сам написал сложную формулу его соединения с йодом.

— А теперь соединим. — И поднял две пробирки. В одной

был нашатырный спирт — этот самый раствор аммиака, в другой — кристаллики йода.

Соединили.

— Йодистый аммиак! — торжественно поднял он над головой пробирку с черной жидкостью.

— Профильтруем!

Профильтровали.

— Пропитаем жидкостью лист бумаги.

Химик положил влажный листок на окно. Урок пошел дальше, как всегда, шумноватый, немного сонный. И первый, и второй. И вдруг Потап схватил учебник и бросил его на окно. Раздался грохот! Все вздрогнули, девочки завизжали.

— Что тут удивительного? — спросил он. — Все вы знали — в теории, разумеется, — что такое гремучая смесь. Это была шутка химика. И он улыбнулся.

— Ой, — сказала Верочка Тевелева, — вот я и пропала.

Верочка постоянно в кого-нибудь влюблялась, но не сильно и не надолго.

А Надя что заметила: как только получился мир с Потаповым, он стал ее строже спрашивать. Во какой! А она стала лучше учить: тоже, мол, не лыком шиты. А он похвалил Надю на педсовете — первый раз в жизни, кажется, ее хвалили. А она вызвалась мыть пробирки... А он...

— Если так пойдет, я стану химиком и сделаю открытие! — смеялась Надя. — Вот посмотрите!

Но тут кончились занятия и осталась одна производственная практика. Так что для открытий был отведен следующий год.

— Ты, Надя, по-моему, чересчур азартная, — сказала ей Верочка Тевелева. Она ревновала, хотя любовь уже прешла.

— Надя всякая, — вмешался Золотцев. — Со всячинкой.

— Точно! — поддержала Верочка. — Думаешь, что она — то, а она — это... Ну, как бы сказать...

— Ни то ни се, да? — задиристо отозвалась Надя. — Ни богу свечка ни черту кочерга. Ни рыба ни мясо...

— Вернее будет, — сказал Золотцев, — и богу свечка и черту кочерга. И рыба и мясо. И в городе Иван и в селе Селифан... Как там еще говорят?

— И этого хватит, — вдруг резко оборвала Надя. — Наврали с три короба, психологи какие!

— Чего ты?

— Да ничего! Привет!

Разговор был в вестибюле, собрались домой. Надя не стала ждать их, убежала одна.

Что это она всех не устраивает? Все такие умные! Ну и ладно. Зато Димочка...

Она бежала домой, и жила в ней, наперекор недовольству, радость. И надежда. «Надежда в мрачном подземелье»... Да это же я!

Надя шла по переулку и прикидывала жизненные пути. Так хотелось, чтобы все, как у людей. Все по-хорошему. А чего-то не добиралось до настоящего. До такого, чтоб и по Диминому вкусу было, и ему понравилось. Нет, не добиралось. А чего — не знала.

На углу — телефон-автомат. Возле него всегда несколько человек, особенно из большого дома. Они там, в центре, наверное, при телефонах были, вот и привыкли, все им надо позвонить, а в квартиры еще когда проведут! Звонильщиков полно — во всех кассах всех магазинов повыбраны копейки и двушки для этих автоматов, а газонная загородка возле автомата рухнула — взяли моду сидеть на ней. Теперь так табунытся. Вроде клуба: все перезнакомились.

— Надея, не спеши! — Надю догоняет Бантиков. Он опять принаряжен, собрался куда-то.

— Далеко ли? — улыбается Надя.

— Теперь буду так ходить.

— Зачем?

— Чтоб тебе понравиться.

— А я — в тапках.

— Тебе идет попроще. А то ты к Лидке вырядилась...

— Плохо?

— Ну, как в чужое.

— А это и есть чужое, Лидкино, — во весь рот смеется Надя. — Отец мое все к чертовой матери пропил!

— Ну, ты и веселая!

— А чего? Делов-то!

У автомата Михаил замедляет шаг.

— Звонить, Миш?

— Ага. Подожди. Я к дружку обещал зайти...

Они ждут очереди, слушают чужие односторонние речи. «Да. Ну, так я это и говорил... Хорошо... Решено». А про что говорил, что решено?..

Михаил набирает номер.

— Слушай, я не приду. Точно. Ну, в другой раз... Не могу, друг, поверь... Не обижайся...

— Добрый вечер, Надя,— слышит она, и все мускулы, все жилочки ее напрягаются. Тотчас наступает другая жизнь: в ней зелень зеленей, солнце солнечней, а радость сочится из глаз, из улыбки, из кончиков пальцев.

— Добрый день, Димочка.

— Когда я вижу тебя, брат Надя, я сразу начинаю искать твою свиту.— Он заглядывает в телефонную будку, смеется: — И нахожу.

Ревнует, что ли? Или так, для разговора?

— Моя свита скучная,— говорит Надя. И вдруг пугается: он может сказать что-то в смысле «Каков поп, таков и приход». Или подумать. И, чтоб не думал, добавляет: — Зато верная.

— Это и правда важней,— серьезно соглашается Дима.

Он думает про что-то свое. Может, кто-то ему не очень верен. Лицо его делается неподвижным, и Надя с удивлением видит, что оно совсем не такое, каким представлялось ей. Глаза, оказывается, очень светлые, узкие, подбородок тоже узкий, щеки впалые. Так бы увидала — никогда бы не влюбилась. Но такое лицо — лишь на секунду.

— Надежда, хочешь, пойдем к нам, Севка будет играть.

— А я? — спрашивает, выходя из будки, Миша.

— И ты.

Наде кажется, что второе приглашение сделано менее охотно. Но Мишке так не кажется.

— Вот как я вовремя отказался.— И он подает Диме руку.— Там, знаешь, сабантуй намечается. Может, и сам мастер придет. Надо бы, конечно, а вот никак себя не уговорю, хорошего.

— Если с мастером — надо, Мишечка,— вмешивается Надя.— Мать говорит, чем сволочней, тем дружнее надо.

Она произносит свою речь как бы всерьез, но так, что ее слова можно перетолковать, будто это насмешка, издевка — и над матерью, и над мастером, и над Бантиковым заодно, поскольку он тем же мирром мазан. А она — не тем. Она умеет так в двух смыслах говорить — и Михаил смалчивает.

«Он вообще перед Димой себя протачком выставляет», — думает Надя. И, скосив глаза, видит, что Дима поглядывает на них хитренько, потому что, в сущности, все это представление, весь спектакль — для него. И он отлично понимает.

Они входят в подъезд, поднимаются на несколько ступе-

нек, и вот уж слева его дверь. Сколько раз думала: «Эх, позвал бы когда!» А теперь идет, будто так и надо. Не волнуется.

Открывает дверь Сева. Он в майке, в тренировочных брюках.

— О, какое общество!

— Мы тебя слушать, — говорит Мишка.

Сева удивленно поднимает брови.

— Это я, я позвал. Ты же будешь прогонять программу, и вот...

Сева разводит руками, как бы извиняясь:

— Ты что-то пугаешь, дорогой. — И уходит в кухню. Он недоволен. И улыбка хоть и есть, но совсем не та.

Дима открывает дверь в их с Севкой комнату. Надя совсем иначе представляла себе ее. Думала, хоть коврик висит, хоть столик какой красивый или что. Нет, почти пустая. Две тахты по стенам, рояль, а у окна старый письменный стол, на нем навалены книги; и еще книги — на полках, вразброс. Чудно живут, будто временно. Надя подходит к окошку, видит свой дом, сад, кусты, которые от них подбираются прямо к этой лоджии. Можно тайком в гости ходить. А что? Вот позвал же!

В комнату бочком, не очень уверенно втискиваются родители. Они совершенно простые, обыкновенные. Они робеют!

— Не начинали еще? Где Сева?

— Мам, познакомьтесь, — подбегает к ним Дима. — Это Надя, наша соседка, это Миша. Папа, познакомься.

Старики с великим почтением жмут руки, называют свои имена и отчества. Они будто и не хозяйева здесь. Чудно все-таки. Ее мамаша уж выдала бы хлопот! И «садитесь», и «не стесняйтесь», и «Надя, принеси гостям стулья». Это если бы все по-хорошему. А могло бы и по-плохому: «Простите, не знали, что придете, у нас не убрано», «Гостей позвали, а угостить нечем».

Здесь же не могло быть по-плохому, это сразу видно.

Родители, сидя на тахте, переговаривались между собой вполголоса, а Дима, усадив гостей на другую, принес и положил рядом с ними книги — смотрите, мол, не скучайте. А сам тоже вышел.

Надя стеснялась, но не очень. И ей понравилось так: разговаривать, дескать, не обязательно, каждый делает что хочет.

«Я тоже в своем доме так буду. Так точно. Только книг

таких нет. А какие особенные книги? Журнал «Новый мир» с закладкой». Начала читать рассказ — нет, скучно. А может, не к месту, не читается сейчас.

Вот другой журнал, «Курьер» называется. Там картинки какие-то, красивые...

Надя листала, все летело перед ее глазами. А вот об этой картине им говорили на уроке эстетики. Смешно! Им сдавать, а *он* просто так интересуется! Он, может, и классику всякую читает, которую стараешься сдать, не поглядев даже. И тут на глаза попалась та самая книжка, из которой *он* тогда вычитал про души, живущие в неодоушевленных предметах.

«Врет Лидка, что читала, — подумала вдруг Надя. — Если б читала такое, была б она совсем другая Лидка».

И как-то стало ей беспокойно, тесно, точно жмет платье, а в этих стенках — слишком просторно. И уйти бы хорошо, да как?

Она поднялась.

— Ты чего? — спросил Бантиков.

— Я пойду.

— Неудобно. Играть ведь будет.

И тут появился Дима. Он был расстроен, сразу видно.

— Друзья, концерт не состоится. Музыкант заболел.

И аккомпаниаторша запаздывает.

— Что с ним?!

— Ничего особенного, мама, — чуть раздраженно ответил

Дима.

И Надя вдруг ясно поняла: не хочет. Не слушатели они для него. Его дело серьезное, в такое не всех пускают.

— И верно, — сказала она убежденно. — Что мы понимаем? Вот я или Мишка?

— Нет, дело не в этом, — скривил губы Дима. — Ему действительно нездоровится.

— Надея права, — опять простоватей и добрее, чем ему было свойственно, сказал Бантиков. — Пошли, подруга.

Дима проводил их до дверей, пожал руки.

— В другой раз, ладно?

Надя с Мишей постояли немного в переулке.

— Айда ко мне, — сказала Надя. — И гитару тащи.

— Сыграем! — обрадовался Михаил. — Пускай нас послушает!

На Надину лавочку сразу набежали ребята. Даже какис-то подростские малыши.

Жили-были два громилы,
Динь-динь-динь! —

запел Михаил и влад, но мимо мелодии застучал по струнам.

Один я, другой Гаврила,
Динь-дишь-динь!

И остальные подхватили:

Весело было нам,
Опа-ра-рам,
Все делили пополам,
Опа-ра-рам!

Никто не заметил, а Надя — сразу: балконная дверь на первом этаже бесшумно закрылась. Это он, Дима. Ему неудобно, что так вышло. Неудобно и за этот ор, который из-за них, из-за Севы, — вот почему закрыл тихо. А слушать такое не могут.

...А с галерки-д мы летели,
Динь-динь-динь,
Лаптем барыню задели,
Динь-динь-динь.

Надя не пела. У нее точно вырос другой слух, и она за этими выкриками, за бреньканьем гитары уловила: за окном, в пустой, будто временной комнате, металась, билась в стекло скрипка. Тоненькое, жалобное, нежное хотела сказать она, сказать всем, а слышала ее лишь Надя. И сама дивилась тем переменам, которые произошли в ней за последнее время, тому неосознанному знанию, которое сделало ее умнее, добрей. Сделало ее проницаемой для непонятного. Для того, может быть, что ценил в жизни Дима.

Скрипка говорила свое. То же, может быть, что хотел и не умел сказать Мишка, да и она, Надя. Это была серьезная музыка. Надя с приездом Севы, наслушавшись из окна, понимала, что это не значит — скучная. В ней есть про все — и про горе, и про веселье; есть в ней про смерть, есть и про любовь. Но она никогда не скажет, как сказала Вера, «чтоб все честь по чести», или Лида — «только не попадись». Нет, нет, тут все иначе!

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы.
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Это им Нина Петровна прочитала. Надя ничегошеньки не поняла, но и поняла. Даже запомнила.

— Хватит, Миш, — попросила она. Раньше бы крикнула, приказала, а сегодня — так вот: — Давай тихую. «Тропинку» давай, чтоб только мы с тобой на два голоса. — И затянула негромко:

Куда ведешь,
Тропинка милая,
Куда ведешь,
Куда зовешь.

Миша вступил второй, и грустью поплыло над отжившим свое время их деревенским поселком, над сохнувшими макушками сосен при дороге:

Кого ждала-а,
Кого любила я,
Уж не воро-отишь,
Не вернешь.

Был сегодняшний день похож на это «не воротишь, не вернешь», а отчего — неизвестно. От неловкого посещения Димы? От Мишкиных нахальных и все же преданных глаз? Да от всего, может, что было за последнее время, и что вчера, и что сегодня. А больше — от присутствия Димы здесь, рядом, и все же так далеко, как в другой галактике. Что-то он принес с собой, а что-то отнял такое, чего «уж не воротишь, не вернешь». Так, наверное. Так.

Была девчонка я беспечная,
От счастья глу-упая была,—

горько и торжественно запевала Надя. И ребятня, и Миша с удивлением поглядывали на нее, не узнавая, не понимая еще, нравится ли им такая. Они любили ту, веселую, беспеч-

ную, глупую от счастья жить, бегать, смеяться. И прощали ей злой язык, несдержанность, заносчивость за ее безоглядную веселость. А что теперь — кто знает?

Над той рекой,
Над тихой рощицей,
Где мы гуля-али
С ним вдвоем,
Встает луна-а,
Любви помощница,
Напомина-а-ет
Мне о нем.

Этот день еще тянулся и ждал такого же странного, как и сам он, завершения.

Мать с соседкой прошли мимо скамеечки, обе наряженные, намазанные, в дорогих платьях. На ребят пахло духами. Куда это они?

Мать глянула на Надю, вернее, зыркнула, подняла подведенную бровь:

— Иди домой, хватит горланить здесь!

— Сейчас! — ответила Надя, и по тону можно было истолковать и как покорность поневоле (Сейчас пойду, ладно уж), и как отказ (Сейчас, как же! Так и побежала).

Михаил, чтоб не злить тетю Шуру, перестал играть, ребята сидели тихо, и Надя тоже. И снова отворилась дверь в лоджию на первом этаже — душно ведь! — и из комнаты послышались голоса, правда, приглушенные, но ясно было: идет спор. Мишка кивнул Наде, и вот они уже в ее укрытии, на чурбачке.

— Они часто ругаются, — шепчет Надя возбужденно.

Отсюда даже часть его комнаты видно, когда ветер относит занавеску. А слышно и по давню.

— Ну и пожалуйста, — говорит Сева. — На здоровье. Нравится — прекрасно. А мне не нужно.

— А чего ж ты сам на день рождения пошел? И, между прочим, со скрипкой.

— Ну, и незачем было ходить...

Надя хотела шепнуть что-то Бантикову, но он захлопнул ей рот ладонью: тихо!

Сева помолчал. Потом сказал раздраженно:

— До сих пор тошнит. Особенно от этого «доцента». Пошляк! Да он не уважает девчонку, с которой... Лиду эту, продавщицу, конфетную свою красавицу.

— А ты уважаешь?

— А я с такими дела не имею. Ты выйди на лоджию, глянь через кусты. Хороша семейка?

— Может, ты мне напомнишь про яблоньку и яблочко?

— И напомню. Про генетический набор!

— Да ты что, Севка?!

— А ничего! И не заметишь как тебя эта девчонка обкрутит.— И сразу — резко: — Ну, довольны об этом. Очень прошу: не води их сюда. Ни торгашей, ни пьяниц всяких, уличных крикунов. Если мы с тобой братья и друзья, конечно. Мой дом, читай — наш дом — наша крепость.— И, уже другим, деловым голосом: — Побежал я, Димка, прости.

Он даже не спросил, согласны ли с ним. Вроде бы приказал.

— Во гад! — прошипел Михаил.— Так бы и врезал! Это, между прочим, и про вас с тетей Шурой. Поняла? А я — крикун.

— Ладно, Миш.

Надя как-то сникла, устала. Из другой галактики долетела до нее смутная угроза. Но ведь она и не ждала... Нет, как же не ждала? Он ведь поцеловал ее. Позвал слушать концерт. Познакомил с родителями. Но это — Дима, а говорил-то Сева. Они хоть и братья, но люди все же разные, не одно и то же. Дима спорил с ним...

Но все равно она огорчилась, было обидно, обидно!

Раньше Надя особенно не задумывалась над этими вещами. А теперь, когда появился Дима, все стало иначе. Стало больней.

Отсюда, из кустов, было видно, как прошел по дороге к метро Сева со своей скрипкой. И снова Мишка сказал злобно:

— Гад! Во гад!

Надя молча поднялась с бревна.

— Не выйдешь? — спросил Мишка.

— Не.

Отец еще не пришел, Алька спала, уткнувшись покрасневшим лицом в подушку. Ну что в ней красивого? И разве в красоте дело? Лида вон какая красавица и одета как с витрины, а им, видишь ли, не угодила. «Конфетная». Из «лица». «Герб», «родословная», какое-то еще «дерево»...

Надя легла, в чем была, на кровать, закрыла глаза. Сквозь веки протиснулись слезы — одна, другая. Вот как все

оборачивается, вот куда тянет. Выше своих ушей не прыгнешь. И не надо. Не надо. Обойдемся, Севочка. Играй себе, перепиливай свой лакированный ящик.

А щеки уже были совсем мокрые, и, как видно, не было конца этому соленому потоку. Точно где-то пробку выбило.

Когда вошла мать, Надя не услышала — может, задремала.

— Девки, — окликнула громко. — Вы у меня как в сонном царстве. Посуда не мыта, полы черные...

Опять, значит, недовольна.

— Ну, чего молчите?

— Не мы пачкали.

— Летаете вы, что ли? До пола ногами не касаетесь?

— Сейчас, мам!

Алька встала, потянулась, зашлепала босая за водой. Водоразборная колонка у них возле дома, даже улицу переходить не надо.

— А ты чего?

— Ничего. Выходной.

— Рано грубить начинаешь. Мне тебя еще два года тянуть, а тебе мой хлеб есть.

Надя сразу замолчала. Правду сказала мать, еще два года. Так что лучше не задираться. Но ведь это мать начинает.

— Вот слушай, Надежда. Ты тут повадилась к одному деду ходить — к Павлу Павлычу. Так ты брось. Поняла? Я и ему сказала, чтоб не приваживал.

— Почему?

— Говорю — и все. Он мне обидчик и тебе, значит, не друг.

— А чего он, ма?

— Ничего.

— Ну скажи! В очереди, да?

— Нет, дочка, раньше еще, давно. Тебя тогда не было.

— Ну и что он? С работы прогнал?

Надя немного подыгрывает. Она знает мать: если перед ней придуриться, она не выдержит. И мать не выдерживает:

— Только работа и есть у человека? Да он... Я еще девочка совсем была, а он уж и тогда пожилой. И при должности...

— Ну, ну...

— Баранки гну. Все. Рано тебе про это знать. Вставай, Надюша, давай приберемся в доме.

На ласку Надя всегда идет. Но сейчас она лежит, не может оторвать глаз от матери: да это же ее начальник, тот, тот самый, про которого Мишка говорил. Не может быть! Он ведь старик!

— Ма, да он старый!

— И я уж теперь не девочка. А были помоложе.

Скрипят половицы в сених, позвякивает дужка ведра.

— Мам, а скажи...

— Ну, хватит. Поговорили, — обрывает мать.

Следом за Алькой появляется и отец. Он вроде бы трезвый, бритый, в парикмахерскую, видно, заходил: на затылке, где бесцветными косицами сбегали к шее волосы, теперь белая, незагоревшая кожа. Он ведь все на улице, под солнцем, — то ящики сгружает, в магазин заносит, то пустую тару тащит во двор. Подсобный рабочий. Между прочим, редкая профессия. Учтите, Севочка. А вас, скрипачей, говорят, как собак перезанных!

— У доктора был, — выдыхает отец и улыбается в неловкости.

Вообще-то уже поздно, просто никто не обратил внимания, что его нет. А он, может, думал — беспокоятся.

— Чего? Заболел? — недружелюбно спрашивает мать.

— Да нет... Такое дело... — Он мнетя, не решается, прямо как красная девица.

— Ну, ну, чего там стряслось?

— Да подрался я, Саша. И выпил-то полстакана, дружок один поднес. Ну, в общем, обкровенили меня, тут — милиция, а новый наш, ну, молодой такой, Синицын: «Я, говорит, тебя, дядя Ваня, в отделение к нам не повезу, я тебя — к доктору».

— Чего это он? Еще и не получил от нас ничего, — удивилась мать.

— Не знаю, Саша, повез. А доктор говорит: «Вам, говорит, таблетку надо принять. И уж если примете ее, пить нельзя. Смертельное дело. Сдержитесь?» — «Подумаю, — говорю. — Не знаю. С женой посоветуюсь».

— Прими, — тотчас откликается мать. Ей безразлично.

— Не надо, — говорит Надя. — Как ты сдержишься? Тебя угостят, и...

— Так и так пропадать,— отвечает отец и смотрит на жену. Он ее решения ждет.

— Почему пропадать? — вскидывается она.— Сколько народу принимало, еще никто не умер.

— Ну как же, Саш, а Васька Слепцов?

— Ну, Васька...

Алька все стоит с ведром воды в руке. Глаза ее широко раскрыты.

— Вы что? — кричит вдруг она и брякает ведро об пол.— Вы что? Папка, не пей ты эту таблетку, не сможешь ты. Да я лучше тебя каждый день с работы водить буду — пьяный, не пьяный... Из лужи вытаскивать...

Она кидается к отцу, обнимает. Она любит его, ханурика. Вот счастливая какая! Надя тоже хотела бы любить его или мать. Но у нее не получается.

— Доченька моя,— гладит ее голову отец. И глаза его мокрые.

Ну, тут уж ясно: выпить-то лучше, чем воздерживаться. А плачет — так он всегда. Напьется и плачет. А потом драться пойдет. Сегодня ведь тоже хоть полстакана, а выпил. И все же Наде жаль его — такой он сегодня чистенький, тихий.

— Лучше так не пей, сам,— говорит она. Голос ее звучит холодно, но он и тому рад, улыбается ей:

— Милые вы мои.

И жене улыбается искательно.

— Ну, как говорится, раздевайся, ночуй дома,— недовольно отвечает она на его жалкую улыбку.

Вот и все. Вечер прошел, начинается ночь. И снова Надя в своей кровати, и снова тихонько плачет. Вот как у них получилось, по-семейному, по-доброму. Давно не было. Даже такого. А разве тут есть хорошее? Разве так ей хочется жить?

* * *

Она встретила Диму, когда шла в магазин, на практику. Вернее, он окликнул и догнал ее.

— Далеко ли, Наденька?

— На практику, Димочка. В торговую точку. Ведь я потомственная торговка.

Надя понимала, что нельзя упоминать о том разговоре — подслушанный все же! — но и совсем смолчать не могла.

— Я все хотел сказать — ты пела очень хорошо. Я тогда слышал.

Надя не верила ему сейчас: просто неловко за брата, и все.

— Ах, ах, даже «очень хорошо». Когда это я пела?

— Ну, когда Сева... Когда он играть не смог. — И добавил виновато: — Вы с Михаилом зря обиделись, он знаешь как волнуется!

— Как?

Дима засмеялся:

— Ну... как если прыгать в реку с вышки в первый раз.

— Он же учился.

— Конкурс будет. Это очень ответственно. Сперва поедет в Ленинград, других слушать. Мы все поедем, всей семьей. А потом уж...

— Зачем других-то?

— Ну... Чтоб знать, каков уровень.

— Чудно! — фыркнула Надя.

— Дима! — слышался Севин голос.

И Надя увидела, как нырнули Димины глаза, будто испугались. Он, может, стыдится? С кем говорит-то!..

— Пока, Димочка! — махнула рукой Надя.

И он блеснул ей на прощанье глазами. Он, похоже, умеет так, отработанный блеск. Надя брела, будто у нее что отняли.

В магазине, как только отошла мастер Анна Ипатьевна, к Наде подступила продавщица Валя:

— Ты что, платье-то покупать раздумала? Сколько я могу держать?

А Надя не то чтобы забыла — ей теперь не нужно стало. Бантикову, видите ли, лучше попроще; Димочке, верно, как и его брату, даже Лида в ес наряде — «конфетная красавица»; Севку она вообще теперь в упор не видит.

— Валь, простите, не возьму я. У меня неприятности дома.

— Бывает. Ну, как знаешь. — И, поискав глазами, окликнула: — Девушка, девушка, вы ждете в клеточку? Идите померяйте, через десять минут время истечет.

Надино платье висит вместе с выписанными — оно уже и оформлено было.

Из толпы протиснулась девица в очках. Ой, да это же Светлана! Надя сделала шаг назад, спряталась за примерочной. Светлана вошла в кабину, возилась, меряла, потом позвала Валью. Разговора особого не было, но Надя теперь была догадливой.

— Спасибо, спасибо, — уходя, кланялась Светлана, и Валя улыбалась ей. Может быть, не за одно спасибо?

Народу было много. Все хотели купить дешевые халаты х/б и шелковые дешевые блузочки.

— Девушка, мне пятидесятый размер!

— Девушка, а другого цвета нет?

— Выпишите!

— Поменяйте, пожалуйста.

— Подождите проходить в салон, — будто издали слышала Надя свой неприветливый голос.

Ей неприятны были эти потные тела, этот бараний крик и напор. Прямо помрут они без этих кофточек! Купят по дороге — так по миру пойдут.

— А-а-а! — раздается вдруг у самого прилавка. — Отдай! Отдай лучше! — Толстая красная тетка насккивает на аккуратненького парня в голубой рубашке. Ее вытаращенные глаза полны отчаяния и решимости. — Отдай, говорю, вот, вот они у тебя в кармане!

Она никого не зовет в свидетели. В руках ее болтается раскрытая пустая сумочка — черная, облезлая.

— Чего пристала? Не брал я! — спокойно отвечает парень. Но глаза его потемнели, на щеках тоже красные пятна.

— Давай, давай назад, — требует женщина и хватает его за карман.

— Ты чего? — слабо защищается парень.

— Сейчас милицию вызову, — сообщает продавец Валя и не двигается с места, смотрит в другую сторону.

Люди расступаются и видят с удивлением, как толстая коротышка выхватывает из кармана у парня пачку денег и молча сует в свою черную сумочку.

— Ты что? Ты что? — беспомощно восклицает парень. — Дура, хулиганка! — И он пропадает в толпе, потом его голубая рубашка мелькает в дверях.

Тут, естественно, поднимается волна возмущения, толки и пересуды. А тетка молча покидает поле боя, только руки дрожат да глаза посверкивают.

— Надя, чего ты, заснула, что ли? Погляди здесь, я выйду.

Валя проносится через салон. Она не любит оставлять Надю, Надя это знает, и ей немного обидно. Но так и лучше — меньше отвечаешь. Сегодня ей все не нравятся, даже Зоя Павловна, — какая-то сдержанная, губы поджала: она не любит, когда рвутся за чем-нибудь одним, она любит походить с покупателем вдоль вешалок с платьями, предложить, порассуждать. И к ней, между прочим, все тоже вежливо.

— Девушка, здесь на кофточке пятно.

— Да вы что? Откуда? Новая вещь, — сердито недоумевает Надя.

— Кто-то мерил. Пятно от помады.

— Отстираете.

— Очень надо...

— Ну, не берите. Это последняя пятьдесят второго.

— Что ж вы смотрите, тут все вещи перемажут.

— За вами углядишь!

— Вы спросите, девушка, может, есть еще...

— Да нету, нет.

— Девушка, тут на сорок восьмых сорок четвертые висят.

— Ну и не трогайте.

— А где сорок восьмые?

— Кончились, кончились сорок восьмые, давно уже сказано!

И все прут, прут настырно. Им и жара — не жара!

Зоя Павловна подходит к Наде, обнимает за шею и так мягко говорит:

— Если не сможешь успокоиться, пойдешь домой.

— А что я? Они сами...

— Они — это они, а мы на работе. — И улыбается ей ясными своими очами из-под седых локонов.

Надя тоже улыбается в ответ: все-таки ей эта Зоя нравится.

— У меня плохое настроение, Зоя Павловна. Прямо с утра.

И так же мягко та отвечает:

— Это никого не касается, Надя. На работе никого не касается.

Похоже, будто они очень дружно разговаривают. А ведь что произошло: такая симпатичная Зоя Павловна сказала, что ей нет никакого дела до Нади. Не мила она ей — это раз. А второе — ее, Надю, чуть не сняли с производственной практики.

Надю будто в холодную прорубь окунули. Надо спастись.

— Не говорите мастеру, — смущенно просит она. — Я не буду больше.

— Ну и хорошо. Предложи женщине во-он ту кофточку: она потемней, но сшита лучше. Зачем ей, в самом деле, с пятном.

Наде опять впору плакать. Вот чего так получается? Кто ей нравится, тот против нее. А кого не надо — пожалуйста.

Она идет к той тетке № 52, подзывает к другой вешалке, показывает кофту.

— И дороже всего на два рубля. И шита очень прилично.

— Два рубля тоже не краденые, — поясняет женщина, но тащит кофту в примерочную. — Дочка, погляди.

— Очень хорошо, — говорит Надя. И как это Зоя сообразила?! — Вам идет. И не маркая. И отстрочена здесь по моде.

— Ну и хорошо. Ну и спасибо. А то уж настроилась купить... А что по моде, это вам видней, молодым. Вот и моя Татьяна...

А выбрала-то не Надя, а старая Зоя Павловна!

Выписали, завернули, даже попрощались.

— Я так думаю, — говорит Зоя Павловна, — если что делать, так хорошо. Вот ты девочка смышленная, а с норовом. Верно ли ты профессию выбрала? Ведь тут все на людях, все на виду.

— У меня нервы расстроены, — жалуется Надя. — У нас знаете как дома — жуть! Я вот гляжу на вас — как это вы только выдерживаете?

— А никак. Все зависит от того, как настроиться. Вот я настроилась, чтоб не позволять себе раздражаться, так меня и не раздражает ничто.

Надя кивает благодарно. Может, эта Зоя и не так плохо к ней относится — сама подошла, подумала и совет дала от души, это же видно.

— Я тоже попробую, — говорит она.

Раньше так не было, Надя, во всяком случае, не помнит, но теперь все ее задевает. Вот кончился рабочий день, закрыли магазин и сразу, у дверей, разошлись, почти не прощаясь. А ее уже томит тревога. Разве это по-людски: «Привет!» — и нет их. И Анна Ипатьевна так же: «До завтра, девочки».

А что, собственно, нужно-то? Да еще в такую жару? Надя идет по улице, и, как назло, все кто-то налетает, кто-то, пробегая мимо, толкает чемоданом (У, ненормальный!), кто-то просит разменять по две копейки, будто у нее здесь разменная касса... Дома тихо. Никого нет. И куда разбежались?

Надя по привычке садится за свой стол напротив окна. И вдруг видит: на его лоджию выходит Светка в своих очках и в ее, Надином, платье! Вот ей где хотелось пофасонничать! Вот чего она перед Валькой пол хвостом мела. Видели бы вы, братцы Стариковы!

Надя смотрит на эту противную Светку, и ей хочется стукнуть ее разочек по очкам. Прямо так хочется, как будто она мальчишка. А всегда смеялась: «Чего вы все деретесь, как петухи, ведь есть у людей и язык, не только руки!» Но тут, с этими братьями, Надя чувствовала, язык не помогает. Ее язык. У них ведь другой.

Она все глядела, как Светка эта подставляет нос уходящему солнцу, как поправляет на платье воротничок. Ну прямо будто украла у Нади это платье! А что, интересно, Севка? Это же его девочка, верно? Это о ней он говорил, что уважает.

Снова открылась балконная дверь, рука из комнаты передала Светке стул. И другой. Ее светлость Севочка хочет подышать воздухом. Но вышел не он. Вышел совсем другой человек. Он не глянул в Надину сторону, как никогда не глядел. А чего же тогда целоваться лез?

Он сел напротив Светки, боком к Наде. Они говорили про что-то. И смеялись. И видеть это было невозможно. Надя знала примерно, о чем может говорить Лида со своим Толечкой, Мишка с любой из девочек. Но о чем говорит Димочка — *ее* Димочка — с девочкой, которая, может быть (вдруг, а?), ему нравится, — этого она не знала. А знать было нужно, пропади все пропадом, провались к чертовой матери, без этого дальше не жить, вот как!

И Надя тихонько, прячась за кустами, пробралась к лазу. Там кусты были высоки, насажены часто, только потоптанная трава немного выдавала ее тайник. Вслушалась. Нет, тихо говорят, похоже — секреты есть. Может, про любовь? Надя, пригнувшись, ухватилась за неприбитые планки забора. Но они не поддались. Что это? Может, спутала?

Надя пошарила вдоль всего забора. Все штакетины были наглухо приколочены. Что же это такое? Наверное, мать наказала отцу заколотить. Ну конечно, вот и полешко откатали. А там, полузакрытые деревцами, перебегающими от Надиного забора к лоджии, сидели и тихо о чем-то говорили эти двое, один из которых *ее* — *ее*, а не этой очкастой подлизы! — Димочка. Что-то уж очень они сблизили головы, что-то уж больно часто смеются...

За счастье надо бороться!

Надя осторожно стала ногой на нижнюю перекладину забора, коленкой уперлась в верхнюю, подтянулась, стараясь не возвышаться над кустами, и прыгнула.

Она умела лазать, она была ловкой девочкой, просто день сегодня такой. Если б не это, не зацепилась бы она

платьем за штакетник. И не повисла бы. Но случилось именно так. Потом платье треснуло, порвалось, и она свалилась, как куль с мукой, в пыльные колючие кусты.

— Кто там? — крикнул Дима. Он легко, по-обезьяньи, перескочил из лоджии в сад, и Надя видела, как он кивнул этому чучелу Светке, а она улыбнулась и поправила очки, чтобы лучше разглядеть Надин позор. И еще перегнулась, вытянула шею.

Дима подходил. Надя сжалась. Он развел кусты.

— Ты чего тут?

— А что?

— А то. — Он недоволен, может, даже смущен за Надю, но лицо и голос у него были сердитые: видно, Сева поработал не зря.

— Нельзя разве? — глядя снизу вверх и облизывая расцарапанную руку, сердито ответила Надя. — Сижу, как птичка. Никому не мешаю.

За счастье надо бороться. За счастье надо бороться! Светка надела ее платье и пришла за ее счастьем.

— Ты думаешь, тут все дурачки, да? И не стыдно тебе?

Надя поднялась: что это ей стоя на коленях разговаривать!

— А чего мне стыдно? — уже громче сказала она. И еще повысила голос почти до крика. — Чего мне стыдно? Я деньги из сумочки не воровала! — И поглядела на Светку.

Она и сама не знала, почему такое у нее вылепилось. Просто, может, от отчаяния.

— Какие деньги? — подался вперед Дима.

— А вот такие. Спроси у своей подружки.

— Да ты что?

— А вот то. У толстой тетки из сумочки в нашем магазине. Да ее, если хочешь знать, ищут, твою Светку. На стенд фотографию повесили: «Не проходите мимо». — И, уже задыхаясь от ужаса, что говорит т а к о е: — Да меня, может, послали следить за ней!

— Замолчи, замолчи, — шепотом говорил Дима, совсем сузив глаза. — Она благороднейший человек, известная пианистка!

— А в сумочку залезла!

Дима, видно поняв, что, если продолжать, еще хуже будет, повернулся резко и полез сквозь кустарник. На лоджию он не стал запрыгивать, двинул к подъезду.

Ага! Не понравилось!

Надя, дождавшись, когда он скроется в дверях, не полезла

назад через забор, а тоже гордо проследовала по двору, не смущаясь рваным платьем.

«А меня срамить — хорошо? Да я, может, попорядочней вас всех!»

Ей уже самой верилось, что это именно Светка залезла в сумочку к той толстой тетке. И только позже, усевшись на кровать и все еще пыхтя от злости, вдруг поняла, что натворила.

«Ну и пусть. Все равно он меня не любит. И никак не заставишь, хоть пой, хоть рассказывай, хоть на уши встань. Светка ему нравится. Пианистка. Известная. А? Известная!»

И опять точно об стены билось ее сердце, полное отчаяния, метались замурованные мысли, бессильные что-либо подсказать.

В сенях зашаркали неровные шаги, со звоном полетел черпак, потом ведро. Значит, на полу вода, надо собирать ее тряпкой, отжимать. «Ах ты мое солнышко, мой папочка! Чего удивляться: у меня пьянь одна, а там — известная пианистка, благороднейший человек!»

Надя пронеслась мимо отца, едва не сшибла.

— Надечка!

Знает она это пьяное умиление.

— Доченька милая! Красавица!

— Чего тебе?

— Водички мне.

— Ты водичку-то по полу пустил.

— А ты принеси.

Не понесет она. Надоело. И на мать удивляться нечего, она тоже намучилась, мама-то. Эх, жаль, не взял ее тогда старик, Павел этот. Интересно, как они теперь встретились? Он, похоже, еще когда смотреть квартиру приезжал, ее увидел, вот и согласился. А говорит мне — «сваха»! Ой, а может, по мне узнал? А может...

Надя быстро вернулась в комнату, минуя отца, который уже забрался на свой голый лежак в сенях, переоделась, взяла кошелек с мелочью и стариковы деньги. Она еще сама не знала, что именно, но что-то брезжило, какая-то надежда.

Подошла к телефону-автомату, набрала номер.

* * *

Старик дремал. Ему нездоровилось, умудрился простудиться в такую жару. Один его приятель, одноленок, как-то

сказал про себя: «Стал под старость простудлив». Павел Павлович тогда усмехнулся: не чувствовал себя стариком. А теперь вспомнил.

И чего я поволокся к этой Александре Алексеевне? Вполне еще интересная женщина и совершенно чужая. Если бы тогда, в палатке, не откликнулась на приветствие, подумал бы, что обознался. Но она вспомнила и меня, и как звать-величать и этим вроде бы дала повод обратиться к ней снова. Дурень, дурень старый, выжидал на другой стороне улицы, когда она выйдет из дому, и она вышла — приодетая, причесанная. И что же? Еще хуже. Потому что в другом виде она и чувствовала себя по-другому. Поклонилась величественно, поглядела как-то сверху вниз...

— Здравствуйте, Павел Павлович. Вы что же, здесь живете теперь?

— Да. Между прочим, твоя Надя сосватала.

Не надо, не надо было про Надю, это лишь укрепило ее самомнение.

— Как это так?

— Да так. Выбежала такая веселая, легкая, крепенькая и говорит: «О-осподи, чего думать-то!» И я сразу решился.

— Узнали ее? Ведь мы похожи.

— Нет, Сашенька, не узнал.— Разговор вроде помягчел, и он ухватился за это.— Просто, знаешь, решился сразу, рубанул сплеча. Такой характер. А ты-то как?

Она опять глянула недобро:

— Лучше всех.— Слова звучали грубовато, может, оттого, что голос стал резким, с хрипотцой.

— Ведь сколько лет не виделись, а, Саша?!

— Меня теперь Шурой зовут.

— Но мне-то ты все Сашенька.

Он заискивал, и она понимала и становилась надменной. Она ведь не знала его таким, а прежний тон он уже не мог найти. Забыл.

— Да, давно... Тогда вы тоже рубанули, характер свой показали.

— Но ведь и ты?

— И я. Вот замужем теперь, двух дочек ращу.

— Надя хорошая девочка. Только пестрая очень.

— Как же это вас понимать — «пестрая»?

— Такая... ну, будто из разных лоскутов сшита.

— Все мы пестрые,— заметила она.

И старик подумал, что у нее было время для наблюдений.

Он ей это время предоставил в избытке. И может быть, верно сделал. Большая толстая женщина в коротковатом шелковом платье, будто специально сшитом, чтобы обтянуть все жировые отложения, даже на спине, — эта женщина огорчала его несходством с той Сашей, о которой он недавно так нежно вспоминал. Да она и не прикидывалась, будто осталась прежней.

— Время, Пал Палыч, на всех заплатки кладет.

— У Нади-то какое время?

Она недовольно промолчала.

— Я вот все думал, Сашенька, как бы сказать тебе... Ей ведь надо во что-то верить.

— Во что же прикажете?

— Ну, в доброе.

— Я верила, — оборвала она.

— Я виноват, Саша, и прощения просить бессмысленно. Но и ты, и я — мы жили в деревне, там детство другое. У нас корни крепче. А ее может любым ветром сорвать и понести.

— А вы что, остановите?

— Хотел бы...

— Интересно.

— Да она вся еще не сделалась, не застыла, ее только и лепить.

— Много вы знаете.

— Я так полагаю. Не знаю, конечно. Но, Саша, она такое позволяет себе... Потом сама же и споткнется.

— Вот тогда и поумнеет.

— Не поздно ли будет? Ведь можно и не дожидаться худого, теперь сказать... Кто-то же должен сказать ей ну хоть о простой порядочности.

— Непорядочная, значит? — как-то по-своему поняв, прищурилась Саша. — Ну вот что: как сумела, так и воспитала. А вы Надю не трожьте, не ваша она. И не вам судить. Вы по жизни тоже пестренько шли.

Он хотел ответить, не нашелся, и она сама заключила:

— В общем, нечего нам особо вспомнить и сказать друг другу нечего. А Надьку не приваживайте, это я по-хорошему говорю. Ну, привет вам, Пал Палыч! — И ускорила шаг, а он замешкался, затоптался и почему-то ужасно огорчился. Что плохого он сделал или может сделать Наде? Неужели злоба живет так долго? И несколько дней потом не выходил из дому, чтобы не встретиться с женщиной, присвоившей себе

его прошлое и сделавшей из этого прошлого нечто достойное пренебрежения.

Теперь, передремывая простуду, он вспоминал эту встречу издали, хотя и недели не прошло. Может, за головной болью, за слабостью все так виделось. Он снова заснул. И тут, будто пулеметная очередь, зазвонил телефон.

— Але! А? Кто?

— Пал Палыч, это Надя.

— Кто? А, Надя. Здравствуй, девочка.

Он обрадовался, он забыл о запрете.

— Пал Палыч, можно я зайду?

— Да, да. Я тут приболел немного.

— Принести чего-нибудь?

— У меня все есть. Приходи.

Он совсем проснулся, даже почувствовал себя бодрей. Убрал в ящик для белья подушку и плед, поправил на диване покрывало, умылся: пожилой человек должен быть опрятен, иначе выглядеть он будет грязным стариком. И сразу позвонили у двери. Надя была тихая, какая-то прибитая и с вопросом в глазах. О чем вопрос, он не знал — может, Саша чего наговорила?

— Я принесла деньги, Пал Палыч.

— А что ж платье не надела?

— Не купила я. Другая совсем купила. И пришла вот к тому парню, студенту, про которого я вам, помните, рассказывала?

— А, ну как же, помню. И ты огорчена?

— Чего мне огорчаться? Каждый выбирает по себе. Ясное дело.

— Что это значит, Надя?

— Разве вы, Пал Палыч, не понимаете? Вы не видели Ивана Степаныча Горюкина, а я только что из дому. Едва приполз. Он моложе вас, а шея — как у петуха, тощая, в морщинах. Скоро окоцурится от водки, а все пьет, пьет.

Надя положила на стол деньги, потопталась. Вроде надо идти.

Она все смотрела на старика, все прикидывала. И так получалось, что могло, могло быть в ее жизни, что не отцово без руля и всякого управления пьянство, а вот такая тишина в доме, телефон, нет, при чем тут телефон, — просто все другое, весь уклад жизни. Сюда и Диму можно пригласить, и Севка бы не побрезговал. Но и Мишке нашлось бы место, и Лиде, и, тем более, Валерке. Всем. Вот почему так? Он,

что ли, добрый, этот Палыч? Какой же добрый? Мать бросил с ребеночком. Не пожалел.

— Мне мама не велела к вам ходить, — сказала Надя, чтобы и ему было больно, а то ишь живет как король.

— Я знаю, Надюша. Только не понимаю почему.

— Уж так и не понимаете?

— Конечно. Зачем бы я стал врать?

— Я скажу. Только не обижайтесь.

— Давай, давай.

— Чего вы усмехаетесь?

— Ты так забавно сказала: «не обижайтесь».

— А что тут?

— Хм, я ведь не барышня.

— Тогда вот. Тогда слушайте. Она боится, что вы мне проболтаетесь.

— О чем?

— Обо мне.

— О тебе? Как это?

— Что я ваша дочка.

— Что-о?

— Не так, что ли?

—

— Ну, чего ж вы молчите?

— Надюша. Надя, это неправда. Кто придумал такое?

— Понятно. — Она плотно сжала губы, прямо поглядела в его ошарашенные глаза. — Отказываетесь, стало быть? Вам я тоже не гожусь.

— Но как бы я мог сказать тебе, что я... что ты... Это было бы пранье!..

— Ах, ах! Мы никогда не врем!

— Смени тон, Надя. Так нельзя.

— А вам можно?! Вам всем можно?! «Я», «я», все «я», все такие прекрасные! Да мне и не нужно такого прекрасного... деда! — Она кричала уже сквозь слезы, и опять чувствовала, что ее заносит, и опять не могла остановиться.

— Надя, девочка, успокойся. — Он хотел погладить ее по голове, она отскочила, как волчонок.

— Не трогайте меня! Гадкий старик! Только бы гладить девочек!

Он опешил. Побледнел. Прошипел сдавленно:

— Вон. Вон отсюда!

— Ах, ах, какой театр! — И выбежала.

И остановилась на площадке. Может, еще не все? Может,

он откроет? Позовет, обругает... Может, стукнет ее как следует, а потом простит?

Нет. Нет.

Что делать теперь? Что делать-то?

Она поглядела вниз, в лестничный пролет. Брр! По коже прошел холод. Но что же тогда? После всего этого разве можно жить?

Павел Павлович захлопнул дверь и привалился к стенке. Потом медленно сполз на пол. Неверной рукой шарил он по домашней курточке, ища нитроглицерин, но пальцы все съезжали, не задевая кармана. Вот не хватало. Не хватало помереть из-за дрянной девчонки. Нет, нет, не думать. Где же он, этот тюбик?.. А... Ну да, в нагрудный положил. Та-ак. Вот, вот он. Втянуть губами таблетку, чтобы другой рукой не двигать. Ну ладно, может, обойдется. Бывало ведь уже. Бывало раза два. Старик, стараясь не делать резких движений, оперся о локоть, голову прижал к стене.

«Полежу. Как мне велел этот тихий бородатый доктор? «Думайте, говорит, о приятном». Но о чем? О сестре, наверное, о Тане. Как она там, в деревне, выходит посидеть на скамеечку возле высокого кирпичного фундамента — дом-то хороший, перестраивали: когда много получал, посылал. Тогда и мать еще жива была, писала ему небойкие письма: «Сей год хлеба хороши, а овощ не задалась...» Или, может, не овощ, а лен? У нас там и ленок сеяли, не знаю, как теперь».

Он шел по лугу, уже наполовину скошенному, босиком бежал по тропке, маленький паренек в братниных подсушенных штанишках на ляжке, — нес отцу обед. В бидоне плескался горячий борщ, здоровый ломоть теплого черного хлеба был завязан в белый мамкин платок и щекотал ноздри... И чего уехал? Дела там не нашлось бы, что ли?

...Да ведь детство это, беззаботность. Взрослая жизнь и там была бы иная.

Сердце понемногу отпустило. Павел Павлович медленно поднялся, дотащился до кушетки. Эх, подушку убрал, готовился к встрече с хорошей девочкой Надей!

Он кое-как расстелил постель, вытянулся, закрыл глаза. Но и сквозь смеженные веки ощущал, как все смещается, стена уходит к потолку, накреняется пол. «Ничего, ничего, — думал он. — И такое уже было, обойдется. Теперь надо будет

подальше от этих двух... Ядовитая семейка! И что она такое наплела? Дочка... Да разве Саша промолчала бы тогда, если бы вправду. И не было-то ничего, она придумывала, чтобы верней удержать, пожестче командовать. «Дочка»! Говорит, не любят ее. А как любить такую? «Девочек гладить»... Какая дрянь! Ах, какая дрянь! И откуда дурномыслие такое! И как она смеет все это произносить своим поганым языком? И не запищит, не покраснеет! Пусть только сунется теперь — так и полетит вниз по лестнице!»

Зазвонил телефон. Старик был уверен, что это Надя. Он, как и многие, еще не снимая трубки, слышал другую сторону провода. «Ох, сейчас и скажу ей! Все скажу! Таких жалеть — только баловать!»

Но на его резкое «Слушаю!» ответил ломкий юношеский голос.

— Товарищ Стаев?

— Да.

— У нас к вам важное дело.

— Откуда это? — насторожился старик. Неужели что-то с Надей? — Говорите быстрее!

— Мы из общества по охране животных.

— В чем дело? — Ему было трудно сидеть в той неудобной позе, которую принял, снимая трубку. — Одну минуточку. — Сел на кушетке, спустил ноги.

— Нам стало известно, что вы разводите крокодилов в ванной... — Паренек не выдержал, голос его дрогнул смехом, и он повесил трубку.

— Идиоты! — выкрикнул старик. И, кладя голову на подушку, уже тише: — Идиотка!

Нетрудно было догадаться, чья это работа. Но понять? Понять невозможно.

* * *

А Надя... Надя, выбежав от Пал Палыча и так и не решив, можно ли жить после того, что случилось, или — всё уже, всё, заглянула в черную, затягивающую дыру лестничного пролета, в страхе отшатнулась. И начала медленно спускаться со ступеньки на ступеньку. Таким образом, решение все же было принято. И упругое тело, обрадовавшись за себя, твердо оперлось на крепкие ноги, и они понесли, запрыгали до самого первого этажа. Оно жило как бы отдельно, это молодое крепкое тело, Надя просто послушалась его. И толь-

ко оказавшись на улице, Надя поняла, что идти-то ей, собственно, некуда. Некуда — и все. Опять прихлынула боль — вот где-то возле горла то сожмется, то разожмется.

«И что во мне такое, что сама все порчу? Может, потому, что все против меня? Никто, никто не пожалеет, не скажет доброго слова. Будто я пес какой драный, будто хуже меня и нет. Даже Мишка Бантиков... И Лиде наплевать, и Альке. А уж о родителях и говорить нечего».

Она, бледная, со сжатыми губами и горячечно блестящими глазами, шагала по переулку неведомо куда.

А куда, интересно, можно уйти в городе? В какие далекие края? Можно, правда, встретить Валерку и с досады дать ему бумажку со стариковым телефоном:

— Спроси, не хочет ли он купить павлина из зоопарка или продать унитаз?

Ох и обрадовался этот дурачок Валерка! Надя же знала, что он еще пацан, хотя и перерос всех людей на свете. Надя чуть развеселилась, но не надолго. Она уж замечала: когда плохо, поговоришь с кем-нибудь о пустяках — и лучше. А разговор кончился — опять все сначала.

И теперь в том же отчаянии шла и шла и незаметно оказалась возле своего ПТУ. Даже сама удивилась. И что привело? Привычка, что ли? Да нет, почему привычка! К Нине Петровне шла. Вот кто нужен-то! Вот с кем поговорить! Скорее! Скорей!

Надя проскользнула мимо нянечки Ванечки, которой всегда все надо, и вот она возле директорского кабинета.

Нину Петровну многие боятся. А Надя — нет. У них ведь какие-то отношения образовались. Наверное, тогда еще, когда о семье Ростовых... Да и еще были разговоры несколько раз. И теперь Нина Петровна, как увидит Надю, всегда кивнет ей отдельно. Вот и сейчас пусть. Пусть что-нибудь скажет Наде или так, заметит просто. Нет, заметить мало. Наде надо рассказать. Про все. Про все эти дни. Как ее обидели — каждый по-своему. И как она сама всех обидела. А не хотела. Вот честное слово — не хотела.

— Девочка! Девочка, ты чего здесь стоишь? А, это ты, Горюкина! — Нянечка все же настигла.

— Я к Нине Петровне.

— К самой?

— А что, нельзя?

— Она на педсовете, в учительской. Да у них только началось.

Надя поднялась на второй этаж, стала возле окна, чтобы видеть, когда пойдут после совещания.

Солнце еще не ушло за крыши, оно тепло золотило уже подзагоревшие руки, высвечивало каждый волосок.

«Почему не любить меня? Кто-нибудь сказал бы: «Руки у тебя — как персики, в пушинках, а глаза...» Ну, глаза, допустим, круглые. Но цвет ведь хороший, правда? Не у всех же такие ярко-голубые глаза!.. Вот у Светки...»

И опять стало больно от памяти. Светке он скажет, а ей, Наде, нет. Почему так, а? Почему? И все кружилось в голове возле этого бессмысленного вопроса, и все не было ответа на него. В самом деле — почему?

За окном уже не было никакого солнца. Сколько же они сидеть-то будут?

Подошла на цыпочках, заглянула в учительскую. Там они! И сама директор, и ее зам, и мастера. Чего обсуждать столько?

Быстренько захлопнула дверь, отошла на прежнее место.

Скорее, ну скорее вы! И, точно по ее зову, за стеной заговорили громко, по двое, по трое стали выходить. Только Нины Петровны нет.

— Ты к кому, Горюкина?

Это Анна Ипатьевна, их мастер и, между прочим, класный руководитель. А вот рассказывать ей не хочется. Нет, другие девочки ее любят, но ведь и она их — тоже. А к Наде — никак. Горюкина и Горюкина. Ну о чем же с ней говорить?

— Я Нину Петровну жду.

— Она спешит, Надя.

— Ничего.

— Как же так — ничего. Она мужа провожает. Поезд отходит ночью.

— Еще до ночи далеко.

— А собрать-то его надо!

Бестолковая эта Ипатьевна! Что важнее — человеческая жизнь или тряпки? Нина Петровна сроду человека на багаж не променяет! А эта Анна сама, наверное, барахольщица.

Надя отворачивается, ждет напружинившись. И вот в пролете двери — толстоватая, но такая прекрасная в строгом белом костюме, несмотря на жару, Нина Петровна. Она вытирает платком совершенно мокрое лицо.

— Вот к вам, Нина Петровна, Надя Горюкина, — вклинивается мастер. — Я сказала, что вы спешите, а она — ничего, мол.

«Все ей надо, все надо! И за что она меня ненавидит?»

Нина Петровна обернулась, и в быстром ее взгляде мелькнула досада. Потом ушло.

— В чем дело, Надя? Я в самом деле тороплюсь. Поезд не будет дожидаться, а мой Иван Севастьяныч три года не отдыхал.

— Я... Да, в общем, ничего, Нина Петровна. Я в другой раз.

— Давай, Надюша, действительно в другой раз.

Надя кивнула, побежала по лесенке, чуть не опрокинула нянечку Ванечку. (Смешно: ее зовут Ивонна, она чешка или болгарка, но вообще-то родилась в Москве. Любит о себе поговорить, но притом никаких потачек. Вредная!)

— Ты что, ты что, как с цепи сорвалась!

— Простите...

— О, глаза б не глядели.

Надя мчит по улице, сворачивает в переулки. Она все знает здесь, она помнит, когда этот вот не то перелесок, не то парк — он близко от ее дома — был настоящим лесом с грибами, ягодами. Здесь и лоси ходили. А теперь асфальтовые дорожки от скамеечки к скамеечке. Асфальт расчерчен мелом. Тут и квадраты — «классы» и рисунки — какие-то дамы с кудрями в широких юбках и подписано: «Это я — Люба» или «Катя». Себя рисовали. Нравятся себе. «А если меня изобразить? Как это будет? Кудрей нет, ничего, в общем, нет. Пустое место».

Надя потянулась за кусочком мела, что валялся в траве, и возле красавицы дамы Любы нарисовала неровный круг...

«Неужели я такая? Совсем-совсем ничего? А чего же тогда они все возле нашего дома вертятся — и мальчики, и девочки? И не к Альке идут, а ко мне?»

Очень просто: я сама и расскажу, и спою, и спляшу, они могут сидеть, раззявившись, — вот вроде и время провели. А пропади я, провались в колодезный люк, никто не заплачет. Я им как петрушка тряпичная — недавно артист Образцов показывал... Отец с матерью Альку любят. Нина Петровна?

Вот дура я: «Что важнее, я или тряпки?» При чем тут тряпки? Она мужа любит. А меня нет.

А меня-то кто?

Отец с матерью — нет.

Старик — нет.

Дима — нет.

А кто же? Кто?

Неужели совсем никто? Ни один человек?!»

Это было так ясно. И так страшно.

Надя сидела, ошеломленная своим открытием.

Никто.

Совсем.

Смотрела на серые асфальтовые заплатки среди песка и травы. Между «классами» и рисунками был свободный кусок асфальта. И девочка странным своим, дрожащим, извилистым почерком вывела на нем во всю длину:

ПОЧЕМУ МЕНЯ НИКТО НЕ ЛЮБИТ?

Хотела затереть, но не стала. Пошла домой. А вопрос этот остался белеть на асфальте среди пыльных темных кустов.

Будто крик.

Будто зов на помощь.

* * *

Новое утро выдалось чистое после ночного дождя. Надя проснулась, поглядела в окно, и ничто ее не порадовало. Не было боли, словно осталась она там, в пыльном скверике, но не было и радости. Было все равно.

Дома никого. Ушли, о ней забыли, не разбудили даже. Ну и хорошо. На практику опоздала. «И не пойду. Не убьет же она меня (она — это Нина Петровна). Да и эта, может быть, не заметит (эта — Анна Ипатьевна)».

Даже в окно не глянула. А чего глядеть? Они все в Ленинграде. Влезла в халат и тапочки, вышла на крыльцо.

На скамейке под кленом сидел Бантиков. Она окликнула. Он обрадовался:

— Вот кого давно не видел!

— Привет, Миша.

— Ты чего, не в духе?

— Разругалась со всеми.

— Это ты мастер. Но ты все равно девчонка что надо!

— Конечно.

— В кино пойдем?

— Нет.

— Почему?

— Ты выпил, мой дорогой, а тебе, как выпьешь, удержу нет.

— Я не так уж! Даже добавить собираюсь. Валерка звал.

— Ну вот и ступай.

— Чего ты злишься?

— Я не на тебя. Я вообще. Понимаешь, Миш, все какие-то гады. Все гады. Никому до другого человека дела нет. Тут хоть в луже утопись или на газовой плитке сгори — им наплевать.

— Надька, ты про кого? Мне, например, не наплевать.

— Я не о тебе, Миш. Мы ведь с тобой старые друзья, верно? А вот хотя бы эти братишки Стариковы.

— И Димочка гад?

— А чего? Вчера сижу на том полешке — знаешь? — возле забора. Мой ведь сад, верно? Мое полешко, мой забор. А он подошел, поглядел. «И не стыдно, говорит, подслушивать?» А чего у них слушать-то? Как Севка ящик свой перепиливает? Или как они там спорят да ругаются?

— Про Димку не скажу, а Севка... Сроду ему не прощу, что мы с тобой слышали тогда. Сроду не прощу.

— Миш, он и Димочке не велит с нами знаться. Как увидит, что он с кем из поселковых, — сразу зовет, ругается. А тот слушается. Боится, что ли?

— Набить бы этому Севке по ушам.

— Конечно. Только ведь он у нас такой гениальный, сразу в милицию заявит.

— Это верно. Я, Надь, другое придумал.

— Что?

— Увидишь.

— Это ты из-за меня, да, Мишка?

— А чего? Если тебя кто обидит... Так и говори: «Будете иметь дело с Бантиковым».

— Все падают в обморок, свет гаснет, занавес опускается. Ах, ах!

Надя изобразила, как все происходит, брякнулась на скамейку, обмахиваясь руками, как веером. Ей сразу стало легче: хоть Мишка за нее!

— А знаешь, как я старика тут одного отчехвостила? А старик этот — бывший материн начальник и вообще. Помнишь, ты рассказывал?

— Да ну?

— Точно! Его прямо на меня вынесло. Ну уж я ему, лапочке!..

Надя показала, как ходит Павел Павлович, грудь колесом, а потом вдруг согнется; как, разговаривая, заглядывает в лицо; как щурится, если недоволен, и каменеет лицом, когда оскорблен. Целую сценку разыграла.

— Ой, Надея, точно, точно! Ведь я этого старика видел. Неужели он?

— Ага!

Покачал головой, подумал.

— Надька, тебе бы в артистки.

— А что? И пойду. Вот окончу училище... Окончу, отработаю три года, а потом...

— А потом тебя не возьмут, старая будешь.

— Возьмут. Я же не красавиц играть. Да я сама себе эти... ну... пьески напридумую... Да я, Миш, через самодеятельность рвану. Вот уж тогда они запляшут!

— Кто?

— Димочка с Севкой. Представляешь? Концерт он сыграл, ему похлопали, а потом я выхожу. Со смешным номером. Ну, мне весь успех.

— Фантазии все.

Надя вздохнула. Конечно, все фантазии, если честно-то говорить.

— Ну, поглядим, Миш, там видно будет.

Ей снова стало тускло и противно все. И чего тут наболтала про артистку? Разве так готовятся? Вон Севка...

— Знаешь, Миш, они все в Ленинград рванули, Севкиных соперников слушать.

— Каких?

— Ну, по конкурсу. Не знаю я точно.

— Очень даже распрекрасно.

Мишка хмыкнул и заспешил.

— Все, Надея. Пойду к Валерке. Может, и ты?

— Не видала я пьяных!

Надя медленно шаркает тапочками по песку, направляется к дому.

«Переоденусь и пойду на практику. Как раз после перерыва явлюсь, авось не заметят».

Она сразу быстрее задвигалась, и мысли побежали всякие не про себя. Про Мишку, например, что вот попить стал. И на работе у него, ходят слухи, неладно. Будто станок заporол, теперь из зарплаты вычитают. А жаль. Хороший парень, хотя позлее стал. Это от водки. Вот и отец раньше добрый был.

Поглядела — платье мятое. Включила утюг. Когда, интересно, семейство Стариковых приедет? Дима, когда про фамилии говорил, и про свою не забыл тоже:

«Вот что значит Стариковы? Мы такое ударение делаем,

что вроде это не имеет отношения к старикам или, может, к какому-то старику, который был замечен в селе или в целом роде... А наверняка был такой Старик с большой буквы — может, целитель, может, умный, мудрец».

«Или колдун», — подсказал тогда Миша. Димочка согласился и с колдуном. И закончил:

«А детей его и внуков звали — Стариковы дети, Стариковы внуки. Так и пошло. А потом уж кто-то захотел покрасоваться, стал называть себя Стáриков. Впрочем, это наверняка была женщина. — И поглядел на Надю, будто знал, как ей не нравится ее фамилия. А уж ей так не нравится! Даже думала: «Можно любить девчонку с фамилией Горюкина? «Я люблю Горюкину», «Счастье мое — Горюкина?»» А теперь ей безразлично. Пустяки все это. Разве в фамилии дело?»

А в чем — опять было непонятно. Только казалось: вот еще капля, вот чуть-чуть — и все откроется.

Надя услышала Мишкин голос. Он звучал почему-то из соседнего двора, где дом-башня.

Она встала не спеша, поглядела. И правда, шли двое — Бантиков и Валерка, оба пошатывались, оба громко говорили, о чем — не разберешь. Надя недовольно покачала головой. Выпили, гуляют. Ну, Валерка-то, пацан, куда за Мишкой тянется? И к кому, интересно, они собрались? К Лиде, наверное. Не позвали. Обидно немного, ну, да с такими пьяными не больно-то интересно. Надя оглядела себя в зеркало: отглаженное платье сидело ладно. Правда, туфли стоптанные, ну, да неважно. Она вышла из дому. Отец вошел в сад, недалеко от ее укрытия, подвязывал смородину. Глянул снизу вверх, сказал заискивающе:

— Прогнали меня, дочка. Теперь на тебя надежда. Как называли Надеждой, значит, так и...

— Что, мамка-то сняла с довольствия? — хмыкнула Надя.

Он промолчал, пошел дальше вдоль кустов, подобрал молоток, которым, верно, забивал лаз. И вдруг закричал:

— Эй, эй! Куда вы! Смотри, дочка! На лоджию забрались! Надо милицию... Беги позови!

Надя не оглянулась. Нечего ей на их лоджию глядеть. Она не сторож.

— Свои, наверное, — пробурчала Надя. — Кто ж полезет среди бела дня?

— Зачем своим-то? — удивился отец.

— Ключи забыли.

Она вся взвинтилась, взбудоражилась. Раз уж так получилось — пусть! Пусть! «Не стыдно?» — зло спросил тогда Димочка. А ему не стыдно с двумя сразу любовь крутить?! Знаем мы таких!

Потом будто разум вернулся, подумала: может, все же остановиться? Но как? Они теперь пьяные, им море по колено, а подбегу, позови их — вдруг кто увидит, — тебя тоже схватят.

— Я, дочк, если ты не хочешь, сам за милицией, — заторопился отец. — Вот хоть с угла постового приведу. А то что ж... Если б мы не видели...

— Не ходи, пап! Отец, не ходи!

Но он шагал быстро, отцепил от себя Надины руки.

— Не ввязывайся ты, отец, по милициям затаскают.

— А хоть и так. Если б не видели...

Он был уже возле калитки, и бежать за ним по улице было стыдно. Драться с ним, что ли?

Надя быстро заперла дом и пошла к метро: не знает она ничего. Она на практике.

В магазине только начался перерыв. Анна Ипатьевна вылетела с продуктовой сумкой за едой. Надю, кажется, не заметила, занята хозяйскими заботами.

Дверь открыла Верочка Тевелева, она здесь совсем освоилась.

— Ты чего? — спросила она. — Бледная какая-то.

— Голова болит. Прямо жуть!

— Потому и не пришла утром?

— Я была, только в другом отделе, Нина Петровна вчера велела.

— Аа...

Вот и все. А отец пускай там дергается, какая ему вера?!

Надя и сама не знала, отчего волнуется. А волновалась.

Все, все тут может плохо обернуться. А что делать? Зачем убежала?!

Потому что на практику надо.

А если честно?

А зачем честно? Кто тут честно живет? Даже старик

Пал Палыч и то ловчит. А о ней кто позаботится? Вот и приходится самой, все самой.

Кончается перерыв. Надя вместе с Верочкой Тевелевой входит в салон. Народу сегодня много, суббота, а покупать особенно нечего. Анна Ипатьевна заглядывает к ним, ничего не говорит. Не заметила, значит.

В магазине душно, лицо делается потным, ноги начинает ломить. Это уж так, «по мнению», — еще ведь не работала почти. И все же хорошо, что суббота, короткий день.

Возле Надиного дома толпа. Ну, не толпа, а человек пять стоит. Все знакомые, соседки. Неужели взяли ребят? Неужели...

— Вот, вот она. Надька ихняя.

— Тихо вы, Надька идет.

Чего им надо?

Надя здороваается. Они с любопытством глядят на нее. Узнать бы, что произошло.

— Надя, Иван говорит, ты видела, — подступает одна. — Ты ребят-то всех тут знаешь.

— Кто лез-то, Надюша? Узнала? Не наши ведь балбесы, верно?

Боятся за своих.

Надя молча проходит мимо. Что ей говорить? Как отвечать? Надо подумать.

— Ишь барыня, с ними небось заодно.

— Не знаю я, — оборачивает к ним Надя злое лицо. — Не знаю, не видела. Я же с практики иду!

Ропот замолкает.

Она почти бежит по дорожке к дому.

Не поймали, значит, ребят! Не узнали!

— Этот пока чухнулся, — встречает ее отец, — эти уже дверь открыли изнутри и ушли через подъезд.

— Кто «этот»?

— Ну, из милиции.

— Ничего не пропало? — равнодушно спрашивает Надя.

— Вот приедут хозяйева. Там, знаешь, дочка, побито кое-что. А вернее — скрипка.

Надя, сама не знает почему, начинает смеяться. Она смеется, смеется, а из глаз текут слезы.

— Будет тебе, — утешает отец. — Чего ты испугалась?

К нам не посмеют, да у нас и брать-то нечего. — И, подумав: — Ковры мать повесила, так черт бы с ними. Ну, телевизор... Так мы и не смотрим, верно?

А Надя все смеется. «Конечно, телевизор не смотрим, ковры не нужны, туфли пропили. Глупость какая! Мишка Бантиков к ним полезет, что ли?»

Надя смотрит из окна на знакомую лоджию. Сегодня хозяева приедут. Заявят? Ведь не пропало же ничего, это наверняка. Вот как получается: никто не знает, что и отчего, только она, только Надя. Страшно это. Ведь спрашивать будут. Отец всем сказал, будто она видела. Надя ставит на плиту ведро с водой, берет полотенце — надо голову помыть да и самой в тазу поплескаться. Горячий день был. Чересчур даже.

* * *

— Фамилия, имя, отчество.

— Надя... Надежда Ивановна Горюкина.

— Работаете? Учитесь?

— Учусь. В ПТУ.

— Где вы были в эту субботу, семнадцатого июля, днем?

— На практике.

— От тринадцати до пятнадцати часов?

— В магазине, на практике.

— Подпишите свои показания.

— Зачем это? Что я, преступница, что ли?

— Так полагается, Надя. Свидетелей тоже опрашивают.

— Я не свидетель.

— Твой отец показал... Разве ты не видела, как залезли к Стариковым?

— Меня же дома не было.

— А что же Иван Степанович — он спутал? Забыл?

— Не знаю. Наверно, спутал.

Надя хотела сказать, что он пьяница, что ему и верить-то нельзя. Но почему-то постеснялась этой женщины. Женщина-следователь молодая еще, спокойная, глаза добрые. Надя понимала, что это у них полагается, без нажима. Но так ей хочется, чтоб на нее глядели добрыми глазами. И чтоб верили. Она ведь не врет. Она не видела. И потом, не доносить же ей на Бантикова! Разве хватит совести? Из-за нее ведь полез, из-за ее обиды. Конечно, не только, сам

тоже разозлился. Но она подначила, верно? Ну, не то чтобы подначила... Не думала ведь, что он т а к о е сделает. А кроме того, она не хочет вылетать из ПТУ. Если отец правду говорит, значит, была дома, не на практике. У них с этим строго. И опять-таки скажут — замешана в темном деле. Репутация продавца... Они ведь мастера слова говорить. И — марш-марш из ПТУ. И что же тогда? Секретаршей не устроишься, значит, нянечкой в больницу, что ли? Или какой-нибудь подсобницей? Уборщицей?

* * *

Павел Павлович поднялся только на другой день под вечер. Еще покалывало сердце, но лежать он не мог: мучило, не отходило то, что произошло. Вся злоба — Сашина, Надина — обрушилась на него, и он оказался беззащитным. Мало ли бывало в жизни — выговоры, нагоняи, несправедливость, — но то не были близкие люди. Его собственная злость почти прошла — он и сам удивился, что так быстро, — но осталось недоумение: неужели любовь оборачивается ненавистью, виной, бедой? Разве *ее* это владения? Зачем тогда она? Зачем разжигает искренность, открытость, доверчивость? Вызывает на свет лучшее, что есть в нас? Чтобы потом утопить в злобе и вражде? Как же так: столько лет прожил — и не понял ничего... «Разве не были мы — я и Сашенька — счастливы? Дороги друг другу? Но ведь я обидел *ее*. Я, я обидел. Я ведь не знал, не слышал... Может, и говорили что о нас. О ней. И вдруг Надежда права? Вдруг Саша сама сказала ей... Я никак не могу точно восстановить, когда же именно, сколько лет назад, мы расстались. Лет восемнадцать — двадцать? Но ведь Наде... Сколько ей? Первый курс после восьмилетки... В семь лет пошла в школу, да плюс восемь — пятнадцать, да плюс год ПТУ — шестнадцать. Мало. А может, она оставалась на второй год? Болела? Может, в школу пошла в восемь лет...»

Павел Павлович вспоминал грубую выходку Нади и в ней теперь тоже винил себя.

«А если я и впрямь отказался от родной дочери, да еще когда ей плохо? Дочь... А чем, как не этим, объяснить Сашину озлобленность ко мне? И может, такую поспешность в замужестве...»

Он, по обыкновению, вечером выходил на прогулку, и дорога — за раздумьями — будто сама катилась под ноги: пере-

улок, усаженный деревенскими домиками, бывший перелесок — весь в асфальте и скамеечках. Стараясь не смотреть на парочки, стекавшиеся сюда, чтобы пообниматься-поцеловаться, глядел вниз, на расчерченные мелом классы, на рисованных тем же мелом красавиц.

И вдруг — знакомый зыбкий почерк, будто волнами по-кривленные буквы:

ПОЧЕМУ МЕНЯ...

Надя!

Он отпрынул, неловко повернулся, зашпешил отсюда.

Его потряс этот крик на асфальте. «Как же худо ей было, что так расплескала свою боль?! Что же происходит с ней? Что привело ее тогда ко мне? Ведь она хотела сказать что-то и не смогла, как немая. Или сказала, а я не услышал, как глухой?!»

Он зашпешил к дому. Зайти, зайти к ним, поговорить с Надей, с ее родителями! И осекся.

А по какому праву поговорить? Да они могут пнуть его с порога, как шелудивого пса, и будут правы. Да как он посмеет? Явился помощник. Двадцать лет ждали. «Как сумела, так и воспитала...», «Пестрая девочка». Ему ли говорить это? «Пестрая»!

Он прошел мимо Сашиного, нет, теперь не ее — Надиного дома, не глядя. Соседки, стоявшие у калитки, посторонились, разговор их прервался.

Там случилось что-то. Что это может быть? Заболела Надя? Может, отец побил ее? Или у Саши с ее торговлей что вышло? Как узнать? Эх, молчун, неконтактный человек! Ни с кем тут не познакомился за целый год!

Он пробрел еще раз мимо, но уже по другой стороне. Потом направился к дому. Надя... Девочка... Дочка!..

Пока открывал дверь ключом, в комнате надрывался телефон. Руки его тряслись, дверь не поддавалась. Он подбежал, когда телефон дал отбой. И снова был уверен: Надя. Только теперь и не думал говорить ей того, что хотел сказать вчера. Ощущение тревоги не оставляло его. И — досада на себя, свою медлительность, свои дрожащие руки... Эх, беда! Беда.

Старик зашаркал в кухню и снова услышал звонок. Он кинулся резво, забыв о сердце.

— Але! Але, слушаю!

На том конце провода молчали и дышали.

— Надя! — крикнул он. — Надя!

Там не отозвались. Да это не она! Это, может, опять тот глупый парень.

— Але! Слушай! Передай Наде, чтоб зашла ко мне. Чтоб зашла, понял?

— Да, — прошептал кто-то. Голос был женский и очень тихий, трудно узнать.

В понедельник к Наде забежала Вера Тевелева.

— Нина Петровна зовет.

— Чего это?

— Не знаю. На днях, говорит, Надя заходила, а я не могла...

— А-а. Ну, сейчас.

Все же, значит, заметила. Вспомнила. Ну и прекрасно. Только как это у отца поговорка есть? Ложка хороша к обеду... Ну ладно, мы люди простые, не обидчивые.

— Подожди, Вер. Раз «сама» зовет, надо соответствовать, верно? Сейчас брови подведем, вот так, теперь есть что насупить. Губы немного...

— А ты чего ходила-то к ней, Надь?

— Так, для трепу. Она ведь разговор поддержать может, верно?

— Что-то ты сегодня веселая какая?

— А я и вообще-то удачная. Все мне удается. И сегодня, и всегда.

— Так не бывает, чтоб всегда.

— Это у тебя. А у нас в доме... У нас прямо из стен бананы растут. И еще свекла. Не заметила?

Верочка наконец улыбнулась.

Надя облизала подкрашенные губы.

— Пошли!

Нина Петровна ждала в своем кабинете. Ее, Надю, ждала.

— Садись, Надюша.

— Спасибо большое.

— Ты зашла тогда... Я ведь не знала, что у тебя серьезное дело.

— Что вы, Нина Петровна. Я хоть и незамужняя, но могу понять.

- Стоп, стоп! Что-то ты очень разговорчива. Ты о деле говори.
- О каком?
- О своем.
- У меня никакого дела нет.
- Но ты хотела поговорить со мной.
- Я с другим человеком поговорила.
- С кем же?
- Ну, Нина Петровна, я же не все могу вам сказать.
- Ладно, Надя, я тоже люблю шутки, но не сегодня...
- У меня к тебе вопрос.
- Я готова, Нина Петровна.
- Ты где была в субботу утром?
- На практике, в магазине.
- Утром? До перерыва?
- В магазине.
- Я справлялась, Надя. Тебя там не было.
- Значит, меня не заметили. Или я себя не заметила, так тоже бывает.
- Хватит паясничать. Дело серьезное. Мне звонили из следственных органов. В квартиру скрипача Старикова среди бела дня забралась какая-то шпана, выломали стекла, разбили скрипку.
- Вы думаете на меня?
- Надя, дружок, наберись серьезности. Твой отец сказал, что ты видела, как туда лезли, и отговаривала его идти в милицию. Почему?
- Ну, отцу не всегда можно верить, Нина Петровна.— И шепотом: — Он ведь сильно пьет. У него и галлюцинации бывают, белая горячка.
- Но галлюцинации обычно скрипок не разбивают, верно?
- Нет, я о том, что он меня припутывает.
- Ты чего боишься, Надя?
- Ничего не боюсь.
- Так зачем же врешь?
- Я не вру.
- Но ты сказала, что была в магазине...
- Это я вас испугалась. Что практику пропустила.
- Нечего тебе меня пугаться. Я твой друг, я тебе помогу. Зачем ты ставишь себя в положение лжесвидетеля? Ведь это карается законом.
- Но я... Я действительно не видела.

- И не слышала, как отец кричал?
- Почему, слышала... То есть...
- Это другой разговор. Постарайся все припомнить. Завтра мне расскажешь, и мы вместе подумаем, как быть.

Мишка встретил ее недалеко от дома, в их переулке.

- Ну, пытаются тебя?
- Ага. Велели на свече клясться.
- Как это?
- Ну, запалили свечу и говорят: «Клади руку на огонь».
- Я серьезно, Надь.
- Боишься?
- Говорят, есть статья — за повреждение личного имущества. До трех, кажется, лет. Ты не сказала про нас?
- Ты что? Ты за кого меня считаешь? — Надя глянула строго и отвернулась.

Понять, конечно, можно, но противно: парень все же, а весь осунулся, глаза запали, куда храбрость девалась... «Если кто обидит, так и скажи: будешь, мол, иметь дело с Бантиковым». А от кого этот Бантиков защитит? Он сам дрожит, как осиночка. Экий герой: со скрипкой справился!

- А скрипка, Миш, денег стоит.
- Знаю я. Справку навел.
- «Справку»...
- А ты-то чего? Сама их ругала, вот я и...
- Просили тебя?! Я тебя просила?

Он промолчал, потупился.

— Не сердись, Надея. Я пьяный был, плохо помню. Но вроде никто не видел, кроме вас с отцом. А он не узнал.

— Я не видела.

— Отказываешься, значит? Ну и верно делаешь.

— «Верно»... — опять передразнила Надя. Ей не хотелось с ним тут пререкаться, будто они заговорщики и все обсудили заранее. — Я, если хочешь знать, в то утро на практике не была. А где? Меня директор наша теперь поддавливает.

— Что ж ты, соврать не можешь? Алиби себе придумать? То сочиняет — не удержишь, а тут...

— Может, я не хочу врать. Могу сознаться: да, видела, а кто — не скажу.

— Ты же говоришь — не видела? Совсем ты, Надька, запуталась. Теперь они тебя растрясут.

Мимо, притормаживая, прошла милицейская машина с ли-

ловой мигающей лампочкой наверху. Надя вцепилась в Мишкину руку, впиалась ногтями в ладонь. Сейчас остановится. Выйдут двое в форме. Может, с собаками...

Мишка тоже замедлил шаг. Но машина проехала.

— Их тут много, — сказал Бантиков.

— Что-то не видела.

— Не замечали. Отделение-то за углом.

Они стояли, оба бледные, с пустыми глазами. Надя очулась первая.

— Ты, Миш, не бойся. Я откажусь. Я и правда не видела. Это я перед Ниной Петровной пасую... Да она не вредная, она... Ну, в общем...

— Ладно, Надея, будь.

— Миш, ты бы не пил, а то, знаешь...

— Ясное дело.

Дома была вражда. Мать сердилась. Она не кричала, а шипела, а это было еще хуже.

— Честняк какой нашелся! — налетала она на отца.

— Если б не видел, а то ведь видел...

— Ну, затвердил. Заело пластинку. Уж ты сотый раз повторяешь.

— Так ведь... Ну, как бы ты: лезут, а ты молчишь? Да?

— Тьфу на тебя! Говорить с тобой тошно! — Увидела Надю. — Вот и девку таскают ни за что ни про что.

— И зря она врет, Саша. Зря врет. Она видела. Меня еще...

— Говорено уже. Хватит. — И обернулась к Наде: — Знаешь, что ли, кто?

— Еще чего!

— А врать зачем?

— Я не вру. Я не видела.

— Ну, неправда это, Саша. Я еще ей сказал: «Сбегай за милицией», а она: «Зачем? Не ходи!»

— Ну, хватит. Надоело. Сам сядешь и нас посадишь.

— Да за что вас-то?

— Все не без греха. Ладно. Все. Кончили.

Мать принялась стирать — она всегда стирает, когда не в духе. Надя разделась и легла, повернулась к стене.

«Дура, дура, проболталась Нине Петровне. Я, конечно, отрекись, но так хуже, меньше веры. Но ведь, если подумать, директор — одно, а следователь — другое. Попрошу Нину Петровну не говорить. Точно! Попрошу не говорить».

Она как-то незаметно для себя уснула и спала долго, тяжело, как под гнетом. И проснулась уставшей.

Ее снова позвали к следователю. Что-то почуяли они. Теперь держись!

Надя вошла в узенькую милицейскую комнату. Женщина-следователь что-то писала, кивнула на стул. Надя села. Женщина не поднимала головы, будто Нади и не было. А может, ждала кого? В дверь постучали, и вошла Нина Петровна.

— Вот и меня вызвали, — сказала она Наде.

И снова пошло: где была? Что слышала? Что видела? Прямо как в детской игре. И так же — надо отвечать, чтоб белого и черного не покупать, «да» и «нет» не говорить, не смеяться, не шутить...

— Так мы вчера остановились на том, что вы с отцом видели, как двое парней... Правильно? Двое парней лезли в лоджию. Они как же — подсаживали друг друга? Я ходила смотрела — довольно высоко. Подсаживали?

— Я не видела.

— Не обратили внимания?

— Не видела.

— Вы заметили, когда они были уже в лоджии?

— Я вообще ничего этого не видела, я ведь сказала вам.

Я была на практике.

— Но директор вашего училища...

Нина Петровна невольно вскинула руку, и Надя отлично это заметила. «Интересно, когда же они успели поговорить? С утра по телефону, что ли? И неужели Нина Петровна... Ведь она мне друг, «мы вместе подумаем, как быть»... Значит, опять одно вранье. А от меня хотят правды!»

— Ну так что же? Вы ведь директору училища сказали, что были дома, слышали, как закричал ваш отец.

— Я не говорила.

Тут уж Нина Петровна пошла красными пятнами.

— Я никогда не вру!

— И я тоже, — нахально ответила Надя.

— А насчет практики? Ты же соврала! — опять ввязалась Нина Петровна. Вот кому следователем-то работать!

— Да, так что же о практике? — подхватила следователь. — Ведь вы утром в магазине не были?

— Нет.

— А где же?

— Алиби нужно?

— Ну, допустим.

— Я гуляла по улице.

— Одна? Кто-нибудь может подтвердить?

Никто не подтвердит. Лида работала, ребятня — мелюзга, они даже не поймут, о чем речь. Вот если только... А почему, собственно, надо подтверждать?

— Вы, что ли, думаете, это я разбила?

— Я ничего пока не думаю, просто выясняю обстоятельства. Так кто же вас видел?

— Надя, ты же сказала мне... Зачем ты крутишь? Может, ты видела да не узнала? Ты не обязана всех воров в лицо знать.

«Они не воры!» — чуть не закричала Надя. Нет, с этой Ниной всего опасней.

— Почему вы скрываете, где вы были?

— У одного человека.

— Кто это?

И Надя вдруг выпалила:

— Стаев Павел Павлович. В той же самой башне живет.

— Он, надеюсь, не откажется подтвердить?

— Конечно. Впрочем, я не знаю. Дело в том, что...

— Ну, ну?

— А при чем тут, Надя, этот Стаев? — заволновалась Нина Петровна. — Кто он?

— Он пенсионер.

— Что у вас общего? И почему бы тебе сразу не сказать?

— У нас одна тайна... Ну, если честно...

— Надя, не волнуй меня. Говори, пожалуйста.

— А вы никому не скажете?

Она с притворной доверчивостью оглядела обеих.

— Так говори, Надюша.

— Он... он мой...

— Ну, ну, Надя?

— Он мой отец.

— Боже мой! — ахнула Нина Петровна. — Прямо бездны какие-то разверзаются.

Она растерялась. Для нее это важно. А для следствия — пустяки.

— Подпишите свои показания.

Надя не спеша идет по улице. Медленно входит в знакомый подъезд. «Пусть Надя ко мне зайдет». Встречайте, иду! Ей и стыдно, и другого выхода нет, и рада. Рада, что нет другого выхода.

Разве много людей, которые нас любят? А старик... Уж что она натворила — простил. Зачем она придумала, что он ей отец? Мало ли кому чего хочется? А он не озлился. Так, только чуточку ворохнулся. Не зря, нет, не зря вспомнился он ей в трудную минуту. Что-то есть в нем для нее доброе. Он думает о ней. Он сказал однажды:

— Ты все время в волнении, в противоречиях, тебе трудно, да? Тяжело? Но я не хотел бы тебе покоя. Найди свое. Выбери.

Не очень ясно сказал, но все-таки... Как в тех стихах — она не поняла, да поняла. И еще смешное: он — старый, глотает пять или шесть таблеток за раз. Она спросила:

— Это от чего лекарство?

Он ответил:

— От разных болезней. — И засмеялся: — Только я не знаю, как они там, внутри, разбираются, кому куда надо!

Ничего старик. Ничего. Пусть ругает. Пусть даже стукнет, если что. Она виновата.

* * *

Стаев дверь открыл тотчас. Даже не спросил кто. Ждал?

— Пал Пал... — начала Надя и вдруг как водой захлебнулась и кинулась к нему на шею.

— Что? Что, Наденька? Доченька? Что случилось? Ну, ну, поплачь, это полезно. Ты знаешь, есть такой ученый... — Старик увел ее в комнату, посадил на диван, притащил ей мокрое полотенце, и Надя теперь плакала в это полотенце, которое из ледяного стало горячим.

— Ну чего он, ученый? — уже со смехом спросила она, еще вздрагивая от всхлипов. — Вы меня, как маленькую...

— А ты и есть маленькая. Не взрослая еще. Так вот этот ученый установил, что слезы от горя и слезы от... ну, от лука, например, — разные. Горькие слезы имеют ядовитый состав, протеин кажется... И когда человек плачет, ядовитые вещества выводятся из организма. Так что ты плачь давай. Выводи.

Надя рассмеялась:

— Я уже вывела.

— Ну, тогда рассказывай все.

— Все-все?

— До последней капельки.

И Надя поняла по каким-то невидимым знакам — звучанию голоса, его серьезной открытости, даже по своему пол-

ному доверию, возникшему, может быть, впервые, — этот не продаст. И рассказала. Только Мишку с Валеркой не назвала, а так — все. Даже про придуманное свое алиби — будто была у него, у Пал Палыча, даже что своим отцом его назначила. Он не сердился, не хмурился.

— Ну и что теперь? — спросил он.

— Не знаю. Посадят, наверное.

— Кого?

— Меня.

— За что же?

— Они так крутят, что вроде я соучастница.

— А на самом деле?

— Нет... То есть...

— А тебе кажется, это хорошо: взять и разбить скрипку?

Прекрасный инструмент. Ведь это ручная работа, неповторимая. — Он сердился, и это было видно. И понятно ей.

— Пал Палыч, да я бы никогда! Или вы думаете, я их хвалю, ребят этих? Так уж у них получилось. Спьяну.

— Разве это оправдание, что спьяну? За такое полагаются... Этого нельзя прощать!

— Их и не прощают. Ищут вот.

— И как ты считаешь — найдут?

— Я не знаю. Может, Стариковы возьмут назад заявление...

— А они заявили?

— Не знаю.

— Нет, Надя, я против безнаказанности. Это, конечно, от меня не зависит, но тут только дай потачку.

— Что ж, мне сказать про все, да? Как же мне после этого жить? Вы подумайте только, Пал Палыч! Я тогда... Я тогда удавлюсь. За эту скрипку проклятую, если она того стоит!.. Я уж думала...

— Ты не кричи, Надя. Ведь не я виноват. И не ты.

Он сказал «не ты», и Надя потянулась к этим словам, как к спасению. И тут же себя остановила.

— Нет, Пал Палыч! Я, конечно, не знала, что они так... Но я рада была... Мне прямо прыгать хотелось, вот до чего!.. Я вам — честно. Мне эту скрипку ничуть не было жалко. Может, вы меня презираете, но — ничуть не. Я ведь говорила, как он зазнавался все время, Севка.

— А только что сказала: «Я этих ребят не хвалю». Это так — пустые слова?

— Да не хвалю я их! Куда уж! Они — плохо, и Севка —

плохо! Понимаете? Одна злоба кругом! Я, конечно, против Севки говорила, но я бы не стала так. А сделали — и я была рада. Вот я вам все как есть говорю. Я себя не обеляю. А ребят... Не могу я их выдать, не могу!

Они сидели на тахте, как на льдине, которая раскололась, и края ее то прибывает один к другому, то отбрасывает прочь.

— Ладно, Надя. Я понял. Хорошо, что мы поговорили.

Ей показалось, что его льдину отнесло на сотню километров.

— Мне уйти?

— Нет, почему же.— Он задумался.— Ведь ты пришла ко мне не только исповедоваться. Мы должны принять решение. Так я понял?

Она опустила голову.

— Конечно, так. А я, честно говоря, не знаю, как быть. Потому что не знаю, как поступил бы на твоём месте.

— Но вы бы не обманули, как я? Или все же...

— Не знаю. Может быть.

— А если вас спросят, была ли я у вас?

— Тоже не знаю. Но ведь именно это надо решить, верно? Надо срочно решить.

— Да,— едва слышно отозвалась Надя.

Они молчали долго — каждый про свое — и не заметили времени. Потом он сказал совсем тихо:

— Я возьму это на себя.

— Соврете?

— Это уж не твоя забота.

Надя закрыла ладонями лицо и засмеялась в них. Засмеялась от счастья. Ей даже не верилось, казалось — все, полный прокол.

— Вы не думайте, Пал Палыч, я... Ну, в общем...— Она хотела сказать, что не будет от этого хуже. Наоборот. Только слов не нашла и все повторяла: — Вы только не думайте... правда... честное слово.

— Я хочу, Надя, чтоб ты, как только кончатся занятия и если, конечно, тебе разрешат... Ну... следовательно — я с ней поговорю сегодня же... чтобы ты поехала в деревню, к моей сестре, к Татьяне, хочешь?

— Еще бы!

— А домашние отпустят?

— На что я им?!

...Когда они попрощались, Надя чинно спустилась по лестнице и вдруг, неожиданно для себя, побежала. Она уже понимала, что следователь разрешит, что он заступится, «возьмет на себя». Она мчалась вдоль улицы, размахивала руками, и все в ней пело и кричало: «Еду! Еду в деревню к тетке! К тете Тане! К моей родной тете Танечке! Ура! Здравствуйте, я ваша тетя. То есть племянница! Прошу любить и жаловать! Прошу любить! Меня!»

Возле дома, на скамеечке, сидел отец. Он был трезвый и тихий. Он между запоями всегда такой — тихий. Надя налетела на него, заобнимала, затрясла, задержала:

— Папка! Папка, ты прав, врать никогда не надо. Ты у меня голова!

— Постой, постой, дочка, ты чего?

— Да ничего. Отпустишь к тетке?

— К какой?

— А, ведь ты не знаешь. Я мать спрошу.

— Спроси. Я в больницу ложусь.

— Ага!

Надя вбежала в дом. Мать готовила на кухне.

— Мама, мамочка, меня Пал Палыч к своей сестре в деревню зовет. К тете Тане. Пустишь?

— Ой, да хоть куда, только б с глаз долой! — сказала беззлобно. И вдруг насторожилась, глянула хмуро: — Куда, куда?

— К тете Тане. — И уже нарочно, назло: — Спасибо, мамочка. А хорошая у меня тетя Таня?

— Ты что, рехнулась? Я-то откуда... Да какая она твоя?

— Моя, моя, он сам сказал!

Мать оглянулась на дверь.

Я тебе приказала не ходить туда. верно?

— Верно. А я ослушалась.

Мать хотела схватить Надю за волосы, но девочка отскочила, а та не погналась.

— И выкинь из башки своей пустой... Поедет она... Нет моего разрешения, поняла? Никуда не поедешь.

— Нет, поеду.

— Надька! — В голосе матери раздражение. Надоели они с отцом ей, жить не дают, бедной.

— Ну чего ты мне сделаешь?

— Запру. И вещи спрячу.

— И кормить не будешь? — Надя все еще была на веселом взводе.

— Может, и не буду, — вдруг успокоилась мать. — А может, буду, когда в палатке поможешь.

— Нанимаешь? За харчи?

Мать нарезала картошку, вытерла руки о грязную тряпку, спросила как бы сама себя:

— И в кого такая дрянь растет?

— Сама удивляюсь, — ответила Надя и сделала шаг к двери.

И тут вошел Бантиков. Ввалился без стука.

— Здравствуй, тетя Шура. Можно Надю на минутку?

— Хоть насовсем.

Едва они вышли в сени, Мишка зашептал:

— Надея! Знаешь, Севка-то что? Его следователь спрашивает, на кого он думает, кого подозревает, а он: «Подозритель, говорит, у меня сколько угодно, но делиться ими я не собираюсь. Закрывайте дело». Поняла? Мне Димка сам рассказал. Его отец с матерью уговорили: мол, не связывайся, мы тебе сберкнижки свои — что есть там — дадим. Все равно скрипку не вернешь, а врагов наживешь.

— Боятся!

— Думают — бандиты какие!

— Да он небось догадывается, Миш.

— Тогда бы заявил.

— А что с тебя взять?

Бантиков задумался.

— Как что? Я, Надея, если так, тоже хочу по-людски. Я отдам, поняла?

— Вот и станет все ясно. Не боишься?

— Уже думал про это. Я перешлю. Каждый месяц пересылать буду. От чужого имени. И Валерке отец на велосипед дал...

— И я! — неожиданно для себя выдохнула Надя, и у нее защемило в носу. — И я, Миш. Стипендию. Мать же кормит пока.

Постояли молча.

— А я, Миш, к тетке еду.

— Далеко?

— Под Архангельск.

— Чья родня-то? Отцова?

— Вроде как.

— Ну, не скучай. Я зайду еще.

— Давай.

— Эх, Надька! — махнул рукой, тяжело сбежал по ступеням, обернулся.— Если что — свистни!

Надя вышла на крылечко — оно ветхое.

Как о н и, как м ы попали сюда после той стройки? И не жаль им было уезжать? Построили город, а жить в нем не стали. Наверное, вместе с Мишкиными родичами двинули. И нашли, купили по домику недалеко от Москвы. Или сменяли, может быть. Легко отвыкли, потом легко привыкли. Так и надо, в общем-то. А я бы не смогла.

И все не понимала, чего ей так грустно? Почему неймется? И вдруг поняла: нет скрипки. Тихо. Звуча не т. У деревянной этой почти игрушечной вещицы отняли ее тихий, ласковый, печальный голос. Ведь она пела, скрипка. И ни в чем не была виновата. Может, в ней жила — как там, в книжке-то Дима читал? — живая душа... Ее можно было позвать. А что? Если в дереве живет, то здесь и по давню самое место. Злились на Севку, а убили вон что. Душу. Да и Севка оказался ничего. Он взрослый. Серьезный. Разве он не волен выбирать себе друзей? И друзья его не такие, как они с Лидой или Мишка Бантиков. Он понимает то, что прочла им тогда Нина Петровна — про лодку и что она, Надя, не поняла. Или еще: она вот готовила доклад по эстетике — об архитектуре,— бегала по всей Москве с книжкой в руках, смотрела: вот этот дом построил Корбюзье (первый раз имя-то услышала!), а эту церковь — Козаков, Мичурин... А они знают все это давно, Надя даже проверила, спросила у Димочки... Она, как слепая, идет — ничего не видит, дом и дом, а они глядят — здесь жил Толстой, здесь, в этой церквушке, венчался Пушкин... Какой она им собеседник?

«Да я все выучу, вот что!»

И сама себе:

«Когда успеешь-то?»

«Еще молодая, успею».

«А нужно? Для жизни нужно?»

«Сама не знаю».

Надя вернулась в дом, вытащила из ящика стола приготовленные для Станы Александровны карточки по архитектуре — открытки с видом того или другого уголка Москвы, наклеенные на картон, а с обратной стороны четко написано, что за дом, какого века, кем построен. Почему не отдала вовремя? А просто так. Желания не было. А вернее, из-за

Станиной обиды. Да, да, она обиделась, что Надя показывает ее, только виду не подала. И все глядела на Надю удивленно, будто хотела спросить: «За что ты меня, такую хорошую?» А Надя и сама не знала. И вот сделала карточки, а не отдала.

— И чего ты со мною спор ведешь? — сказала тогда Стана Александровна, поставила за ответ четверку и добавила: — Захочешь — принеси карточки, ты могла бы и пять иметь в году.

И вот теперь Надя приделась, сорвала в саду теплую желтую ромашку с коричневой сердцевинкой и пошла в ПТУ.

В вестибюле тихо. Ребят знакомых нет. Бродят какие-то новенькие, узнают, спрашивают. Аудитории закрыты. Поднялась в кабинет эстетики, тронула дверь. Она подалась. На столе сумочка Станы Александровны — сумочка у нее тоже красивая, маленькая, на длинном тонком ремешке через плечо. Стало быть, здесь она, только вышла.

Надя быстро, чтобы не столкнуться с учительницей, сунула завернутые в газету карточки под сумку, а желтую ромашку положила у ног Венеры Милосской. «Вам нравится эта упитанная женщина с невозмутимым лицом и закрытыми глазами? Ну и вот. Пожалуйста. Я соглашаюсь с вами. Никаких таких споров. Вы правы. Хотя, на мой вкус, вы красивей. У нас с вами мир, ладно?» И быстро вышла из аудитории.

Наде никого не хотелось встретить, и она не встретила. Точно невидимкой прошла. Даже нянечка Ванечка не шелохнулась, даже новички не спросили ни о чем.

Прошла через скверик, случайно (забыла совсем!) глянула на асфальтовую дорожку. Прекрасных дам Любу и Катю с их кудрями и тонкими ножками еще можно было разглядеть. Ее же надпись почти стерлась под ногами пешеходов, остались только меловые полосы, и Надя не стала смотреть — от каких букв. Очень тихая вернулась она домой и стала собирать вещи.

* * *

Переступив порог директорского кабинета, Стаев почему-то разволновался. К следователю шел — хоть бы что, а тут... Впрочем, прием ему этой оказан любезный.

Он рассказал этой строгой обаятельной женщине об «асфальтовых письменах» и был огорчен реакцией.

— Это все возрастное, — улыбнулась Нина Петровна. —

В жизни каждого молодого человека есть время, когда он особенно остро ощущает потребность в тепле, в доброте. Помните, у Цветаевой — она была тогда немногим старше Нади:

К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои? —
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

И дальше там:

За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид...

— Здесь, у Цветаевой, тоже много боли, — сказал он, — но боль эта, как мне кажется, утолилась, став стихами. А у Нади... Только вот крик на асфальте. Крик боли и, вероятно, обиды.

— Но за что обида? — пожала плечами Нина Петровна. — Мы все любим Надю. В ней есть что-то, что располагает, заставляет забыть о ее грубости, неправдивости, о том, как плохо она думает о людях.

— Она видела мало хорошего.

— Да, у нее трудная семья. Надя девочка нервная, вздорная, но очень способная, артистичная. И властная, между прочим. Кто может ее обижать? Тут, скорее, идет обожание. Не «и», а «о». Ее забаловали, понимаете? Она так привыкла ко всеобщему восхищению, что чуть немного внимание к ней ослабнет...

«Нет, — подумал он. — Нет. Дело не в привычке. Когда человек говорит, что ему не хватает любви, не хватает тепла, значит, так оно и есть. Ему видней, потому что он это чувствует».

— Вы не возражаете, если Надя уедет в деревню, к моей сестре?

— Так, значит... Вы действительно... Она сказала, что вы ей...

Нина Петровна так и не выговорила того, о чем ей хотелось знать. И он не помог: ведь это — праздное любопытство. Что могло бы теперь измениться в жизни девочки?

Нина Петровна, как видно, поняла, не стала допытываться.

— Я рада, — кивнула она. — Рада за Надю, что она поедет. И что Стариковы не предъявили иска.

— Вы все же подозревали Надю?

— Ни секунды. Но она так глупо повела себя. И так волновалась. Вы всегда ее понимаете?

Он покачал головой, но снова искал оправдания:

— Я считаю: важно, к чему человек стремится, к чему тянется.

— Безусловно, — встрепенулась Нина Петровна, — Но не такими же методами, если иметь в виду Надю.

Она была права. И все же Стаев снова возразил, хотя и не так уверенно:

— Девочка вылезает из ямы, ступенечка за ступенькой, и у нее нет под рукой другого строительного материала.

И задумался. Для него здесь тоже не все сходилось: он боялся, не прилипла бы к рукам эта «строительная грязь»...

* * *

Девочка шла по улице с рюкзаком за спиной.

— Надя! — окликнули ее.

Она остановилась. От шестнадцатизэтажной башни к ней бежал худой, подвижный паренек.

— Ты что, уезжаешь? ..

— Да.

— И не попрощалась?

— Я думала, ты не заметишь, Димочка.

— Почему же? Надя, разве мы не друзья?

— Я не знаю, Дима. Если серьезно — я теперь ничего не знаю.

— Что-то произошло?

— А разве нет? Ты не заметил?

— Заметил. Но у нас с тобой?

— И у нас. Тогда, возле забора...

— Ты рассердилась? Но, Надька, это правда было очень смешно, когда ты... — и он расхохотался, — ...когда ты плюнулась в кусты.

— Конечно. — Она вспомнила об этом теперь, когда столько произошло тяжелого, тоже как о смешном случае. —

Но ты бы мог не бегать, не смотреть. Я сидела тихо, как птичка.

— Мне было интересно, что ты скажешь.

— Ну, я и сказала. Понравилось?

— Нет! Нисколько. Но — неожиданно.

— Со мной, Дим, не соскучишься, верно? И злить меня не надо.

— Но я ведь не хотел... Ты не сердись? Теперь не сердись?

— Я, Дим, вообще считаю: если тебе плюнут в морду, подставь другую...

Он улыбнулся:

— Сама придумала?

— Что ты! Это нас на уроках этики учат.

— Боксерская реакция! Проводить тебя?

— Как хочешь...

Они идут, и Надя чувствует: не обойдется без этого разговора. Нет, не обойдется. Она резко останавливается, подает руку.

— Ну, я побежала. Все-таки поезд!

Он задерживает ее пальцы.

— Стоп. Стоп. Хочу спросить, Надя.

Голос — без насмешки, и глаза какие-то грустные, что ли. Надины щеки делаются красными.

— Спроси.

— Сейчас... — Он задумывается. — Ну, вот так, скажем: ты всегда считаешь, что ты права?

Да, это уже о том. О скрипке. Наде хочется, как тогда у Пал Палыча, зареветь чуть не в голос и сказать, сказать все по-честному, себя не пожалеть. Но с Димой так нельзя. Он не Пал Палыч. И Надя, глядя в землю, отвечает:

— Нет. Не всегда. — И, уже подняв глаза, блестящие от слез: — Я отработаю. Все внесу, мы внесем, так и скажи ему!

— Но разве — ты?

— Нет, не я. Но и... не не я.

Дима снова глядит серьезно и грустно. Хорошо глядит.

— Я тут собрался на Север. К сентябрю вернусь. Ну, в общем, приезжай. Увидимся.

Теперь Надя идет тихо, никуда не торопится. Нет в ней задора, но и тревога отпустила, будто рождалась рука, державшая за горло. И о Диме почему-то думается будто изда-

лека и впервые — тепло и строго. «...В общем, приезжай. Увидимся».

Хрупки и необъяснимы человеческие отношения. Пока — вот так: горячий июльский день, двое идут по улице, в разные стороны идут. И почему-то вместе.

А что будет завтра — кто знает?

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Галина Николаевна Демыкина

ПОЧЕМУ МЕНЯ НИКТО НЕ ЛЮБИТ?

Повесть

Ответственный редактор
И. С. Аравина

Художественный редактор
С. И. Нижняя

Технические редакторы
И. В. Золотарева и Л. С. Стёпина

Корректоры
Г. Ю. Жильцова и И. И. Мокина

ИБ № 6902

Сдано в набор 05.07.83. Подписано к печати 13.08.85. А10774.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный.
Печать высокая. Усл. печ. л. 5,88. Усл. кр.-отт. 6,99. Уч.-
изд. л. 6,24. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3422. Цена 40 коп.
Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
издательство «Детская литература» Государственного ко-
митета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская
книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного ко-
митета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли. 127018, Москва, Суцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43,
Дом детской книги.*

Демыкина Г. Н.

Д32 Почему меня никто не любит?: Повесть/Оформл.
А. Демыкина.— М.: Дет. лит., 1985.— 111 с.

В пер.: 40 к.

Повесть о девочке из неблагополучной семьи. Писательница прикасается здесь к остросовременным нравственным проблемам и показывает недостатки своей героини — ее духовную неразвитость, эгоизм — в столкновении с разными людьми. Характер Нади дан в развитии, в сложном преодолении ею своих ошибок.

Д 4803010102—463 269—84
М101(03)85

Р2



40 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»